
Виктор Гюго

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
приговоренного
к смерти



1865

Annotation

«Последний день приговоренного к смерти — это прямое или косвенное, считайте, как хотите, ходатайство об отмене смертной казни, <...> это общее ходатайство о всех осужденных настоящих и будущих, на все времена; это коренной вопрос человеческого права, поднятый и отстаиваемый во весь голос перед обществом, как перед высшим кассационным судом; <...> это страшная, роковая проблема, которая скрыта в недрах каждого смертного приговора, <...>; это, повторяю, проблема жизни и смерти, открытая, обнаженная, очищенная от мишуры звонких прокурорских фраз, вынесенная на яркий свет, помещенная там, где ее следует рассматривать, в ее подлинной жуткой среде — не в зале суда, а на эшафоте, не у судьи, а у палача.

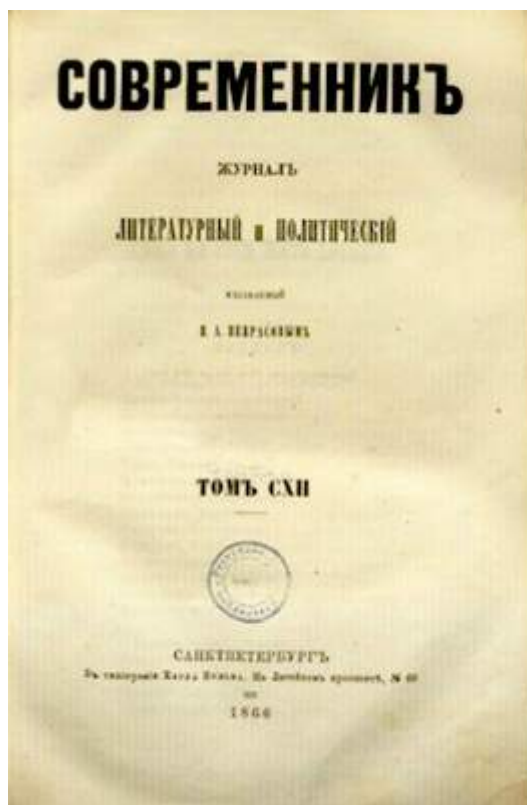
Вот какова была цель автора. И если будущее покажет, что он достиг ее, на что он не смеет надеяться, то иного венца, иной славы ему не нужно». (Из авторского предисловия)

Текст публикуется по изданию: журнал «Современник», № 11, 1865.

- [Послѣдній день приговореннаго къ смерти](#)
 -
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)

- [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
-

Послѣдній день приговореннаго къ смерти ВИКТОРА ГЮГО



I.

Бисетр.

Приговорен к смерти!

Вот уже пять недель, как я живу с этой мыслью, постоянно с нею наедине... Она леденить меня, тяжким бременем гнетет меня!

А было время — и мне кажется, с тех пор прошли не недели, а годы, — а я был таким же человеком, как и

другие. У каждого дня, часа, у каждой минуты, была своя мысль. Мой юный и богатый ум был полон упоительных видений. Он развивал предо мною длинный свиток жизни, вышивая на его грубой ткани причудливые, неистощимые арабески, То являлись юные красавицы, то митры епископов; то выигранные сраженья, то театры, наводненные огнем и гулом нескольких тысяч голосов, там опять красавицы, и уединенные прогулки под раскидистыми каштанами... Что ни день, то бывало и праздник в моем воображении. Я мог думать о чем хочу, был свободен.

А теперь — я узник. Окованное мое тело заточено в каземате, разум окован одной мыслию, мыслью ужасной, кровавой, неотразимой! У меня одна мысль, одно убеждение: я приговорен к смерти!

Что бы я ни делал, эта адская мысль безотлучно со мной, как грозное виденье. Ревнивое чудовище, она отгоняет от меня всякую другую мысль; она тормозит меня своими ледяными руками, если я от нее отворачиваюсь или закрываю глаза. Она впалзывает в мозг мой во всяких образах; как припев примешивается к каждому слову, которое я слышу от других; выглядывает из-за железной решетки моей кельи; мучит меня бодрствующего; стоит у моего изголовья, когда я забываюсь сном; является и в сновидениях в образе топора!

Как-то я проснулся и, преследуемый ею, сказал: «это сон!» Но прежде нежели я, открыв отяжелевшие зеницы, прежде чем я успел прочитать в действительности эту роковую мысль, начертанную и на влажных стенах моей кельи, и на нагорелой светильне мерцающего ночника, и на грубой ткани моей одежды, и на мрачном лице часового, которого сумка блестит сквозь дверную решетку — чей-то голос уже шепнул мне на ухо: ты приговорен к смерти!

Это было в ясное утро августа месяца.

Со времени начала моего следственного дела прошло три дня. Уже три дня мое имя и мое преступление привлекали каждое утро толпу зрителей на скамьи суда, как падалище привлекает стаи воронов; три дня мелькала предо мною эта фантазмагория судей; свидетелей, адвокатов, присяжных — то в смешном, то в кровавом — но постоянно в ужасающем виде! Первые две ночи я не мог уснуть от страха и беспокойства, на третью — скука и усталость усыпили меня. В полночь меня вывели из залы суда, а заседание еще продолжалось. Меня привели на солому каземата, я тотчас же погрузился в глубокий сон, а с ним и в самозабвение. Это был мой первый сон после долгой бессонницы.

Я был, так сказать, на самой глубине этого сна, как меня разбудили. На этот раз, чтобы разбудить меня, оказалось недостаточно стука тяжелых башмаков тюремщика, бряцанья его ключей и скрежета засовов двери. Чтобы извлечь меня из моей летаргии, тюремщик тронул меня за руку и хрипло сказал на ухо: «Вставайте же!» Я открыл глаза и сел на постели. В эту минуту, сквозь узкое окно каземата, на стене соседнего коридора (эта стена заменяет мне небо), я увидел желтое пятно — луч солнца... Я люблю солнце.

— Сегодня ясная погода! — сказал я тюремщику. Он помолчал с минуту, точно обдумывая, стоит ли отвечать мне; потом проворчал сквозь зубы: «Может быть!»

Я сидел недвижно, в какой-то дремоте, и с улыбкою не спускал глаз с золотистого отблеска на стене.

— Да, славный день! — повторил я.

— Да, — отвечал тюремщик. — А вы вставайте; вас ждут.

Эти слова, как нитка, за которую ребенок притягивает к себе привязанное насекомое — мгновенно напомнили мне о безотрадной действительности. В ту же минуту, будто луч молнии промелькнул передо мной: зала суда, судьи в их кровавых тогах, три ряда свидетелей с их

тупыми физиономиями, два жандарма по обеим сторонам моей скамьи — а там, в полумраке черные платья и головы зрителей, взгляды двенадцати присяжных, бодрствовавших, покуда я спал.

Я встал с постели. Зубы у меня стучали, как в лихорадке, я не знал, где отыскать одежду, колени мои подгибались. Сделав два, три шага, я споткнулся, как носильщик, чрез меру нагруженный. Однакоже я последовал за тюремщиком.

Двое жандармов ожидали меня на пороге моей кельи. На руки мне опять надели кандалы. Эти кандалы были с затейливым замочком, который тщательно замкнули... Пускай себе! Надевайте одну машину на другую.

Мы прошли чрез внутренний двор. Свежий утренний воздух приободрил меня. Я поднял голову. Небо, было ясно и теплые лучи солнца ярко озаряли дымовые трубы и высокие стены тюрьмы. Погода действительно была прекрасная.

Мы поднялись по винтовой лестнице, миновали один коридор, другой, третий; наконец перед, нами открылись низенькая дверь. Жаркий воздух, в котором гудел говор многих голосов, пахнул мне в лицо. Этот воздух был дыханием толпы в зале заседания. Я вошел.

При моем появлении раздался смутный говор и бряцанье оружия; задвигали скамьями, закрипели дверями у загородок, и покуда я проходил по длинной зале между двух стен народа, сдерживаемых рядами солдат, мне казалось, что я центр, на котором связуются невидимые нити взглядов всех присутствующих.

В эту минуту я заметил, что кандалов на мне нет; где и когда с меня их сняли — не помню.

Тогда воцарилась глубокая тишина. Я дошел до своего места. В ту минуту, когда затих смутный ропот в толпе, мысли мои пришли в порядок. Мгновенно я понял то, о чем до сих пор только догадывался; я понял, что наступила роковая минута, и что меня привели сюда для выслушавшие приговора.

Как эта мысль пришла мне в голову, пусть всякий объясняет себе как хочет, но она не ужаснула меня. Окна были отворены; с улицы явственно доносился городской шум; в зале было светло как в свадебном покое; веселые лучи солнца отражали на полу переплеты оконниц, скользили по столам; прозрачным золотом обливали стены; призматическими красками переливались в столбах пыли.

Судьи в глубине залы самодовольно переглядывались, вероятно радуясь окончанию дела. Слабо озаренное лицо президента дышало спокойствием и кротостью; молодой ассессор, поглаживая краги, так весело разговаривал с молоденькой дамой в розовой шляпке, которую должно быть по знакомству привел и усадил на местечко поближе.

Одни присяжные были бледны и унылы; но вероятно от усталости, после вчерашней бессонницы. Некоторые из них зевали, судя по их манерам невозможно было подумать, чтобы эти люди произнесли смертный приговор, и судя по лицам этих простяков, я понял только, что им хочется спать.

Окно, против которого я сидел, было открыто настежь. Я слышал, как на набережной хохочут цветочницы; а на подоконнике в трещине камня покачивался хорошенький желтый цветком, освещенный солнцем, слегка колеблемый ветерком.

Как при этой прелестной обстановке могла зародиться в уме человека страшная дума? Упиваясь свежим воздухом и солнцем, я ни о чем ином кроме свободы не мог думать, сердце мое просветлело надеждой, и я ждал приговора, как освобождения от жизни.

Однако же пришел мой адвокат. Его ждали, он только что позавтракал, и как видно, плотно и с аппетитом. Дойдя до своего места, он с улыбкою нагнулся ко мне.

— Я надеюсь, — сказал он.

— Неужто? — отвечал я, также спокойно и с улыбкой.

— Да, — отвечал он, — я еще не знаю, чем они решили, но вероятно приняли во внимание, что преступление совершено без предумышления, и тогда нас приговорят только к вечной каторге.

— Как, сударь! — воскликнул я с негодованием. — Да лучше сто раз умереть!

Да, лучше смерть! А впрочем, повторил мне какой-то внутренний голос, чем же я рискую, говоря таким образом? Смертные приговоры произносятся обыкновенно в полночь, при огне, в мрачной черной зале, в холодную дождливую ночь! Но в августе в семь часов утра, в такую прекрасную погоду и эти добрые присяжные... Этого быть не может! И я опять устремил глаза на желтенький цветок на подоконнике...

Вдруг президент, ожидавший только адвоката, сказал мне, чтобы я встал. Солдаты взяли под караул, и как будто от электрического потрясения, все присутствующие поднялись с мест. Какая-то дрянная ничтожная фигурка, сидевшая за столом ниже судейской трибуны, должно быть повытчик, стал читать протокол вчерашнего заседания присяжных. Холодный пот проступил по всем моим членам, я прислонился к стене, чтобы не упасть.

— Адвокат, — сказал президент, — имеете ли вы что сказать о наказании, которому подвергается подсудимый?

Я мог бы многое сказать, но не вымолвил ни слова. Язык мой как будто присох к небу.

Защитник мой встал.

Я понял, что он хотел смягчить приговор присяжных и вместо наказания, к которому они меня присудили, хотел заставить их присудить меня к другому, о котором только что говорил, и которое меня так оскорбило.

Негодование мое без сомнения было слишком сильно, если могло выказаться сквозь тысячу разнообразных ощущений, обуревавших меня. Я хотел сказать вслух то же, что сказал и адвокату: «лучше сто раз умереть!» — но

у меня занялось дыхание, и я судорожно ухватив адвоката за руку, мог только выговорить: «Нет!»

Генерал-прокурор опроверг предложение адвоката, и я слушал его с тупым удовольствием. Потом судьи вышли, потом возвратились, и президент прочитал мне мой приговор.

— К смертной казни! — раздалось в толпе. И когда меня повели, вся эта толпа ринулась за мной вослед с грохотом разрушаемого здания. Я шел, как пьяный либо одурелый. Во мне произошел страшный переворот. До произнесения приговора я еще дышал, двигался, жил в среде других людей; теперь, между мною и светом, возникла какая-то преграда. Все явилось мне в ином виде. Высокие окна, ясное солнце, чистое небо, прелестный цветок, все полиняло, побледнело, приняло цвет савана. Эти люди, женщины, дети, толпившиеся на моем пути, казались мне привиденьями.

У подъезда меня дожидалась черная, грязная карета с решетчатыми окнами. Входя в нее, я случайно оглянулся на площадь.

— Приговоренный к смерти! — говорили прохожие, теснясь вокруг кареты. Сквозь облако, которое заволокло глаза мои, я увидел двух молоденьких девушек, жадно следивших глазами за мною.

— Хорошо! — сказала самая младшая, хлопая в ладоши. — Через шесть недель и конец!

III.

Приговорен к смерти!

Что же! Почему бы и не так? Помнится, я читал в какой-то книжке следующее весьма дельное изречение: *Все люди приговорены к смерти, только время казни неизвестно.* Чем изменилось мое положение?

С той минуты, когда произнесли мой приговор, сколько умерло людей, которые собирались жить очень

долго. Скольких людей, молодых, здоровых, свободных, собиравшихся посмотреть на мою казнь — пережил я в это время... Скольких еще переживу!..

Чего жалеть мне в моей жизни? С чем я расстаюсь, что ожидало меня? Мрак и черствый хлеб кельи, жидкая похлебка из одного котла с каторжниками, грубое обхождение — мне невыносимое, как человеку воспитанному; тюремщиков и приставов; постоянный трепет при воспоминании о том, что я сделал, что со мной делают... Вот блага, которые отнимет у меня палач...

А все же оно ужасно!

IV.

К черной карете перевезли меня сюда, в этот гнусный Бисетр.

Издали в этом здании есть нечто величественное. Оно рисуется до горизонте, на вершине холма, и в некотором расстоянии сохраняет прежнюю пышность и похоже на королевское жилище. Но, по мере приближения к нему, замок превращается в безобразную каменную громаду. Неровные башенки бросаются в глаза, все тяжело, неуклюже, безобразно; что-то позорное и жалкое грязнит фасады этого строения: можно подумать, что эти стены покрыты болячками проказы. Окна без стекол; вместо рам толстые железные решетки, из-за которых выглядывают бледные лица каторжников или сумасшедших.

Такова жизнь, когда на нее посмотришь вблизи!

V.

Тотчас по приезде, меня опять взяли в железные руки. Надзор и предосторожности усилили; к обеду не стали давать ни ножа, ни вилки; одели меня в *укротительную рубашку*: мешок из грубого холста, лишавший меня возможности двигать руками; за жизнь мою отвечали. До

утверждения приговора могло пройти шесть, семь недель, и меня следовало сохранить здрава и невредима для Гревской площади.

В первые дни со мною обходились с кротостью, которая была мне несносна. От ласки тюремщика пахнет эшафотом. К счастью, через несколько дней привычка свое взяла; они стали обходиться со мной с той же скотской грубостью, как и с арестантами; исчезла эта необычайная вежливость, которая постоянно напоминала мне о палаче. Но в моем быту произошло еще иное улучшение. Благодаря моей молодости, покорности, предстательству тюремного пастора, мне позволили раз в неделю гулять по двору с прочими заключенными и сняли с меня укротительную рубашку. После некоторого колебания, мне дали чернил, бумаги, перьев и ночник.

Каждое воскресенье, после обедни, в часы отдыха меня выпускали на двор. Здесь я говорил с арестантами; нельзя же без этого. Она рассказывала мне о своих проделках, и страшно было их послушать; но я знал, что они хвастают. Они обучали меня их наречию и воровским техническим терминам. Это особый язык с примесью обыкновенного языка или, вернее, нарост дикого мяса, веред на языке отечественном. Некоторые выражения поражают своей энергией и картинностью: *у него смола на руках* (он убивал), *жениться на вдовушке* (быть повешенным), как будто петли вдова всех висельников. Голову вора называют двояким образом: *сорбонной*, если она думает, рассуждает и подстрекает других на преступление, и *чурком* — если ее рубит палач. Иные выраженья как-то водевильно-игривы: *первый кашемир* (корзинка тряпичника), *лгун* (язык), и, кроме того, ежеминутно, странные, таинственные неблагопристойные слова, неизвестно откуда заимствованные: *кум* (палач), *конус* (смерть), *планарда* (площадь, где казнят). Точно названья каких-нибудь жаб или пауков. Когда слышишь разговоры на этом языке, то при этом чувствуешь, как будто в глаза летит пыль с грязных лохмотьев, которые при тебе вытряхают.

По крайней мере эти люди жалеют обо мне; только они и жалеют. Сторожа, ключники, придверники — я не сержусь на них — разговаривают и смеются между собою, и говорят обо мне при мне, как о вещи.

VI.

И я сказал сам себе:

— Если я имею средства писать, почему бы мне и не писать? Но что же я буду писать? Сажу в четырех стенах, лишенный свободы движения, без горизонта для взора, смотря только на стену коридора сквозь решетчатую дверь, наедине с мыслию о преступлении и наказании, убийстве и смерти! Что могу я сказать, если мне более нечего делать на сем свете? Найду ли я в моем поблеклом опустелом мозгу что-нибудь о чем бы стоило писать?

А почему же нет? Если вокруг меня все бесцветно и однообразно, зато во мне кипит буря, борьба, разыгрывается целая трагедия! Эта постоянная мысль, которая мучит меня, не станет ли с каждым часом, с каждой минутой являться еще ужаснее, по мере приближения рокового срока? Бесспорно, это богатая тема для сочиненья, и как бы ни была кратковременна жизнь моя, в ней еще есть достаточно мучений, чтобы на описание их иступить перо и исчерпать всю чернильницу. При моих мученьях, единственное средство к облегчению их состоит именно в том, чтобы наблюдать за ними, описывать их.

Кроме того, мое рукописание будет и не без пользы. Этот дневник моих страданий, по часам, по минутам, по степеням мучений, если только я буду в силах дописать его до того мгновения, когда *физически* буду лишен возможности продолжать, — эта история недоконченная, но по возможности полная — история моих мучений, не послужит ли великим и глубоким уроком?

Эти листки, когда-нибудь изданные в свет, на несколько минут займут разум судей страданиями другого

разума. Что значит страдание тела в сравнении со страданиями души. Придет день и может быть, мои записки, эти последние признания несчастного, помогут...

Да! Если после моей смерти ветер не разнесет их по двору, не разбросает по грязи... либо тюремщик не употребят их на заклепку своих разбитых окошек.

VII.

Я пишу с надеждою принести пользу другим, чтобы спасти несчастных виновных или невинных от тех мучений, которые изведываю сам... А к чему? С какой стати? Когда голова моя падет под топором, какое мне будет дело до чужих голов? Как я мог думать о подобных пустяках? Разрушат эшафот после того, как был на нем! Какая мне от этого прибыль?

Когда меня лишат солнца, весны, цветущих полей, птичек, будивших меня по утрам, деревьев, природы, свободы, жизни!..

О! всего прежде мне бы следовало подумать о собственном спасении! Да неужели я должен умереть завтра, может быть даже сегодня? Неужели это так? О! Господи, чтоб избавиться от этой мысли, я кажется разможжу себе голову об стену моей темницы!

VIII.

Сочтем, много ли мне остается:

Три дня на отсылку приговора в кассационный суд.

Восемь дней дело проваляется в уголовной палате; оттуда перешлют к министру.

Две недели пролежит у министра, который, даже не подозревая о существовании этих бумаг, препроводит их опять в кассационный суд.

Здесь дело перенумеруют, занесут в реестры, потому что гильотина завалена работой, и каждому приговоренному следует соблюдать очередь.

Две недели апелляционного срока.

Наконец, в четверг обыкновенное заседание суда; суд пересылает бумаги опять к министру; министр к генерал-прокурору; генерал-прокурор — к палачу. И того три дня.

Утром четвертого дня помощник прокурора, скажет, надевая галстук: пора, однако кончить это дело. И тогда, если регистратору не помешает какой-нибудь приятельский завтрак, предписание палачу будет набело переписано, занумеровано, скреплено, подписано и на другой день на заре, на Гревской площади начнут строить эшафот, а по предместьям раздадутся охриплые голоса афишоров, продающих объявление о казни.

Всего на все — шесть недель. Правду сказала молоденькая девушка у подъезда.

И вот уже по крайней мере пять недель, а может быть и шесть — боюсь считать — как я сижу, в конуре Бисетра, а четверг, как мне кажется, был три дня тому назад.

IX.

Я написал завещание.

А к чему оно? Я присужден к уплате судебных издержек, и все мое состояние едва ли их покроеет. Гильотина — штука не дешевая.

После меня остаются: мать, жена и дочь.

Дочери моей три года; это милое, кроткое дитя, розовенькое, нежное, с большими черными глазками и длинными русыми кудрями.

Когда я видел ее в последний раз, ей было два года и месяц.

Итак, после моей смерти три женщины останутся без сына, без мужа, без отца; трое сирот разного возраста; три

вдовицы...

Согласен, что я несу наказание по делам моим, но они, невинные, что они сделали? Все равно! Они обещены, разорены...

Не сокрушаюсь о моей бедняжке матери: ей шестьдесят четыре года; весть о моей казни убьет ее сразу. Или, если она и проживет еще несколько, то было бы у нее в грелке немножко горячей золы, она и тем будет довольна.

Не тревожусь я и при мысли о жене; она слаба здоровьем и рассудком; и она немногим переживет меня...

Не переживет, если только не сойдет с ума. Говорят, что сумасшедшие — живучи. Но за то в помешательстве душа не страдает; она спит — это та же смерть!

Но дочь моя, мое дитя, моя Мария, которая теперь ни о чем не думая смеется, поет, играет...

Вот кого мне жаль!

X.

Опишу место моего заточенья.

Это конура в восемь квадратных футов; четыре стены из плитняка, опирающиеся под прямым углом в каменную плиту.

Направо от входа углубление в стене, пародия алькова. Здесь охапка соломы, на которой спит арестант, одетый и зимой и летом в полотняные штаны и крашенную куртку.

Над моей головой вместо неба черный свод — *стрельчатый*, как его называют, увешанный лохмотьями паутины.

И нет ни окон; ни даже отдушины; дверь наглухо окована железом.

Виноват. В верхней части двери, по середине прорезано отверстие в девять квадратных дюймов, прикрытое крестообразными железными перекладинами. На ночь, тюремщик запирает это отверстие.

За дверьми довольно длинный коридор, освещаемый и проветриваемый узкими отдушинами, пробитыми вверху стены, и разделенный на участки; в каждом из них окованная железом дверь, эти двери ведут в казематы, подобные моему. Сюда, по распоряжению смотрителя тюрьмы, сажают за наказание провинившихся арестантов. Три первые конуры назначены для помещения приговоренных к смерти, потому-то они поближе к комнате тюремщика, и надзор за ними для него удобнее.

Эти казематы единственные остатки от древнего замка Бисетра, построенного в пятнадцатом столетии кардиналом Винчестером, тем самым, который приговорил к костру Жанну д'Арк. Так рассказывали *посетителям*, зашедшим в мою конуру, и смотревшим на меня издалека, будто на зверя в клетке зверинца. За это тюремщик получал от них франк на водку.

Я забыл сказать, что денно и ночью у моих дверей расхаживает военный часовой и когда бы я ни взглянул из дверного оконца, мои глаза постоянно встречаются с его зоркими глазами.

Впрочем, думают, что в этом каменном ящике есть и свет, и воздух.

XI.

День еще не наступил, что же делать с ночью? Мне пришла в голову мысль. Я встал и, взяв ночник, стал осматривать стены моего жилья. Они покрыты надписями, рисунками фигурами, именами, которые перемешиваются, теснятся, изглаживают друг дружку. Мне кажется, что каждый колодник, хотел хоть здесь оставить след своего существования, Надписи поделаны карандашом, мелом, углем, нацарапаны на камне, в иных местах красноватые,

будто написаны кровью. Право, если бы разум мой был свободнее, меня бы заняла эта странная книга, с каменными страницами. Я бы собрал в одно целое эти отрывчатые мысли, брошенные на камень, я бы отыскал человека под каждым именем, я бы осмыслил и оживил эти изуродованные надписи, разрозненные фразы, исковерканные слова — тела без головы, как и те, которые их писали.

Над моим изголовьем два пылающие сердца, пронзенные стрелой, с надписью: *«любовь до гроба...»* Не продолжительно же было обещание бедного узника!..

Видом фигурка в трехугольной шляпе, и слова: *«ура! император 1824»*.

Опять пылающие сердца, с подписью слишком странною для тюрьмы: *«люблю и обожаю Матье Данвина. Жан»*.

На противоположной стене одно только имя: *«Папавуан»*. Заглавное П украшено арабесками и тщательно обрисовано.

Потом — куплет неблагопристойной песни.

Фригийский колпак, глубоко вырезанный на камне, с надписью: *«Бори. — Республика»*. Это работа одного из четырех ларошельских унтер-офицеров. Бедный молодой человек! За мысль — ты поплатился головой; за мечту — страшной действительностью, называемую гильотиной? И я, проливший кровь, я, убийца — еще смею жаловаться!

Довольно! Дальше не иду в моих поисках. В углу я заметил начертанный мелом страшный рисунок, абрис эшафота, который теперь, может быть, строят для меня... Я чуть не выронил ночника из рук.

XII.

Быстро сел я на солому, приложив голову к коленям. Потом, когда утих мой ребяческий ужас, мной снова

овладело странное любопытство продолжать чтение надписей на стенах.

Подле имени Папавуана я нашел огромный лоскут паутины, покрытый пылью и протянутый до самого угла. Под нею было четыре или пять имен, очень явственно отделявшихся от прочих, совершенно сгладившихся. *Дотон 1815. Пулен 1818. Жан Мартен 1821. Кастень 1823.* Я перечитывал эти имена, и они пробудили во мне мрачные воспоминания. Дотон изрезав на куски родного брата, и ночью, ходя по Парижу, бросал голову в фонтан, а туловище в водосток. Пулен убил жену; Жак Мартен застрелил из пистолета своего отца, в ту минуту, когда старик отворял окно. Кастень, доктор, отравил своего друга, и пользуя его от этой искусственной болезни, продолжал давать яд вместо лекарства; и вместе с ними Папавуан, бешеный сумасброд, убивавший детей ударами ножа по голове.

Вот каковы были, подумал я, и при этом ледяной пот пробежал у меня по пояснице — вот каковы были мои предшественники. Здесь, на этом самом месте думали свои последние думы эти люди злодейства и крови! Они ходили вокруг этих стен, как лютые звери в клетке. Они сменили друг друга в короткий промежуток времени и, кажется, этот каземат не надолго пустеет. Место, завещанное ими мне, еще не остыло... И я в свой черед последую за ними на Кламарское кладбище, густо поросшее травой!

Я не мечтатель, не суевер. Легко может быть, что мрачные мысли воспалили мою кровь огнем горячки, но во время этих размышлений мне показалось, что все эти имена начертаны на стене огненными буквами; в ушах раздался постепенно ускоряющийся звон... потом, весь каземат наполнился людьми: каждый из них в левой руке нес свою голову, придерживая ее за нижнюю челюсть, потому что волосы у этих голов были острижены. Все грозили мне кулаками, кроме отцеубийцы.

С ужасом я закрыл глаза, и тогда видение стало еще явственнее.

Сон, видение или действительность, но я бы сошел с ума, если бы постороннее впечатление не пробудило меня во время. Я уже падал навзничь, как вдруг на босой моей ноге почувствовал холодное туловище, и мохнатые лапки. Это был паук, которого я сронил с его паутины.

Видение исчезло. О, странные призраки! Да нет! То был чад распаленного воображения, бред усталой головы... Химера Макбета! Мертвые спят непробудно; особенно эти обезглавленные. Из этой тюрьмы не убежишь... Но чего же я так испугался?

Дверь могилы изнутри не отворяется.

XIII.

В эти дни я был свидетелем отвратительного зрелища.

День чуть брезжил, но по всей тюрьме был необычайный шум. То и дело раздавался стук дверей, скрип засовов, бряцанье железных болтов; тюремщики бегали, взад и вперед, гремя ключами, лестницы скрипели под их тяжелою поступью; по коридорам раздавалось голоса. Мои соседи колодники, наказанные каторжники, были веселей обыкновенного. Весь Бисетр смеялся, пел, бегал, плясал.

Один я безмолвно внимательно прислушивался к этой суете.

Мимо дверей проходил тюремщик.

Я решился подозвать его и спросить: не праздник ли у нас в тюрьме.

— Да пожалуй, что и праздник! — отвечал он. — Сегодня заковывают пересыльных в Тулон. Не хотите ли посмотреть? Это вас позабавит.

Действительно, для одинокого узника и это зрелище, как оно ни гнусно, могло назваться находкой. Я решился позабавиться.

Тюремщик принял все узаконенные меры предосторожности, потом ввел меня в небольшую келью, совершенно пустую, с решетчатым окном, не как бы то ни было — окном настоящим, высотой по локоть, сквозь которое можно было видеть настоящее небо.

— Пожалуйте, — сказал тюремщик, — отсюда вы все увидите и услышите, Вы будете одни в вашей ложе, как король.

Потом он вышел, замкнув за собою дверь на все ключи, запоры и засовы.

Окно выходило во двор — четырехугольный и довольно обширный, обстроенный со всех четырех сторон высоким шестиэтажным зданием. Ничто не могло быть так неприятно для глаз, как этот четырехсторонний фасад со множеством решетчатых окошек, сверху до низу унизанных тощими бледными лицами, громоздящимися друг на друга, как камни в строении, окаймленными перекладинами оконничных решеток. Это были арестанты, зрители, ожидающие того дня, когда сами будут актерами. Можно было подумать, глядя на них, что это души грешников, смотрящие на адские муки из чистилища.

Все безмолвно смотрели во двор, покуда еще пустой. Они ждали. Между этими чахлыми и бледными лицами местами сверкали глаза острые и пронзительные, как огненные точки.

Тюремный двор не имеет особенных ворот. Восточный фас строения соединяется с соседним зданием железной решеткой. Эта решетка выходит на второй двор, поменее первого, и подобно ему окруженный стенами и почернелыми бойницами.

Стена, окружающая главный двор, окаймлена каменными скамьями. По середине стоит железный столб для фонаря.

Пробило полдень. Главные ворота со скрипом распахнулись. Во двор с тяжелым грохотом въехала телега, окруженная грязными солдатами в синих мундирах

с красными эполетами и желтыми перевязями. То была этапная команда: а телега была нагружена цепями.

В ту же минуту, как будто этот грохот пробудил всех заключенных — все зрители у окошек, до сих пор безмолвные, разразились хохотом, песнями, проклятьями. То были вопли демонов. Каждое лицо было искривлено безобразной гримасой, сквозь решетку высунулись сотни судорожно сжатых кулаков, все голоса рычали, все глаза метали искры и меня ужаснул дождь этих искр, внезапно брызнувший из-под пепла.

Однако же этапные (в толпе которых, судя по их опрятной одежде и выражению ужаса на лицах — были и горожане, зашедшие сюда любопытства ради) — этапные принялись за работу. Один из них влез на телегу и стал сбрасывать с нее товарищам цепи, ошейники и холщевые штаны. Тогда они заторопились: одни в углу двора растянули длинные цепи, называемые на их языке *тесемками*, другие разложили на мостовой *тафтины*: рубахи и штаны; самые опытные в деле, вместе с капитаном, худеньким старичком, рассматривали ошейники и пробовали их прочность, побрякивая ими об мостовую. И все это сопровождалось насмешливыми воплями арестантов, заглушаемыми хохотом каторжников, для которых приготавливались все эти снаряды. Каторжники в ожидании стояли у окон старой тюрьмы, выходящих на маленький двор.

Когда окончились приготовления, господин в мундире с серебряным шитьем по воротнику, *господин инспектор*, как его величают, подал знак директору тюрьмы — и в ту же секунду, три или четыре низенькие двери почти одновременно изрыгнули во двор потоки людей отвратительных, оборванных, ревущих. Это были каторжники.

При их появлении радость зрителей в окошках удвоилась. Некоторые из них, каторжные знаменитости, были приветствуемы криками и рукоплесканиями, которые они принимали с горделивой скромностью. Головы большей части этих людей были покрыты шляпами,

сплетенными своеручно из казематной соломы. Все эти шляпы были особенного фасона, для того чтобы в городах, сквозь которые повезут каторжников, заметили, кого именно везут. Каторжанам в шляпах особенно неистово аплодировали. Из них один возбудил особенный восторг. Это был молодой человек лет семнадцати, с женоподобным личиком. Он содержался восемь дней в секретном номере. Здесь из соломы он сплел себе целую одежду и выбежал во двор, кувыркаясь колесом с гибкостью змеи. Это был фигляр, осужденный за воровство. Его осыпали рукоплесканиями и радостными криками. Каторжники вторили зрителям, и этот обмен веселья между каторжниками, идущими в ссылку и ожидающими ссылки, был явлением ужасным, чудовищным. Хотя общество и имело тут своих представителей в лицах зашедших зевак и тюремщика, но преступление и отверженцы первенствовали, и наказание было семейным праздником.

По мере появления каторжников их пропускали сквозь двойной ряд этапных на малый двор, где их подвергали медицинскому освидетельствованию. Здесь несчастные отваживались на последние попытки, чтобы избежать путешествия. Для этого они ссылались на слабость глаз, на хромоту, вывихнутые руки. Но почти всегда для каторги они оказывались годными; и тогда каждый беззаботно покорялся своей участи, и в несколько минут забывал о своем вымышленном увечьи.

Решетка малого двора снова отворялась. Вахтер сделал перекличку по азбучному порядку; после того, каторжники каждый по одиночке выстроились в углу большого двора, бок о бок с товарищем по букве. Так их попарно и сковывали, как придется; и если у каторжника есть друг, цепь может разлучить его с ним навеки. Это последнее горе.

Когда десятка три отсчитали, решетку заперли. Этапный выровнял их палкой, бросил каждому рубаху, куртку и шапку из грубого холста; и, по данному им знаку, все стали раздеваться. Неожиданный случай, как нарочно, превратил этот позор в пытку.

До этой минуты погода была ясная; легкий осенний ветерок, освежая воздух, мало-помалу заволок небо тучами, сквозь которые изредка проглядывал луч солнца. Лишь только каторжники сняли свои лохмотья и обнажились для обзора сторожей, на потеху любопытных зевак, небо потемнело и ударил холодный осенний ливень, мгновенно заливший двор ручьями воды, стегая несчастных по головам, голым телам, промочив насквозь их убогую одежду.

В один миг все бывшие на дворе, кроме сторожей и галерников, попрятались куда ни попало. Любопытные горожане приютились под навесами.

А дождь, между тем, лил ливня. Мокрые галерники стояли по колено в воде. Мертвая тишина сменила недавний веселый шум. Каторжники тряслись, щелкая зубами; их тонкие ноги, а узловатые колени бились друг о дружку; и жалость была смотреть на их дряблые члены, обрисованные промокшим холстом. Лучше было бы видеть их вовсе нагими.

Только один какой-то старик был неизменно весел. Он закричал, садясь и вытираясь мокрой рубашкой, что *этого в программе не было*, потом захохотал.

Когда каторжники оделись в дорожное платье, их повели отрядами в двадцать и тридцать человек в другой угол двора, где их ожидали *канаты*, растянутые на земле. Эти канаты ничто иное, как длинные цепи с положенными на них поперек другими, покороче. У каждой короткой цепи с одной стороны ошейник, замыкаемый пушечным ядром.

Каторжникам велели сесть прямо на грязь и лужи мостовой: померяли ошейники... Потом явились два тюремных кузнеца с ручными наковальнями, и заклепали на каторжниках цепи. В эту минуту побледнели и самые смелые. При каждом ударе молота об наковальню, прислоненную к спине истязуемого, — подбородок его отскакивает; при малейшем движении головой вперед ему могут расколоть череп, как ореховую скорлупу.

После этой операции каторжники приуныли. Только и слышны были — бряцание цепей, да изредка крик и глухой удар палки пристава об спину какого-нибудь упрямы. Некоторые плакали; старики дрожали, покусывая губы. Я с ужасом глядел на эти свирепые лица в их железных рамках.

Итак, это зрелище — драма в трех действиях; первое — осмотр сторожей, второе — докторское освидетельствование, третье — заковка.

Проглянуло солнце. Оно как будто кинуло огнем в головы каторжников: все они быстро вскочили с мест. Пять канатов взяли за руки и огромным хороводом окружили фонарный столб, и закружились, закружились так, что зарябило в глазах. Они затянули песню галерников, на голос попеременно то заунывный, то бешено веселый; пение по временам прерывалось хохотом, возгласами... там опять бешеные вопли; и цепи, бряцая одна об другую, были аккомпанементом этому пению, заглушавшему однако же этот дикий оркестр. Для воображения адского шабаша нельзя найти лучшего или, вернее, худшего образца.

Во двор принесли огромный чан. Сторожа палками приостановили пляску каторжников и подвели их к этому чану, в котором плавала в вонючей горячей воде какая-то зелень. Они стали есть. После еды, бросив остатки обеда на землю, они снова принялись за пляски...

Я смотрел на это зрелище с таким жадным, трепетным любопытством, что позабыл о себе самом. Чувство глубокой жалости раздирало мне душу, и я плакал, слушая их смех.

Вдруг, несмотря на задумчивость, в которую я погрузился, я заметил, что хоровод смолк и остановился. Потом глаза всех бывших на дворе обратились на мое окно.

— *Решенный!* Приговоренный к смерти! — закричали они, показывая на меня пальцами, и веселость их удвоилась.

Я стоял как окаменелый.

Мне неизвестно, почему они знали меня, как могли узнать!

— Здорово! здорово! — кричали они мне с грубым хохотом. Самый младший из приговоренных в вечную каторгу, малый с блестящим загорелым лицом завистливо посмотрев на меня, оказал: — Счастливец! Его *обкарнают!* Прощай, товарищ!

Не могу выразить, что происходило во мне. Товарищ! Правда... Гревская площадь и Тулон — сестра с братом. Я был даже ниже их: они не стыдились меня. Я дрожал всем телом.

Так, я им товарищ! А через несколько дней и я, может быть, буду для них зрелищем.

Я стоял у окна недвижимый, раздавленный, оглушенный. Но когда пять канатов бросились ко мне под окно с изъявлениями адской ласки, когда загревели их цепи, и это бряцанье с голосами, топотней, ревом слилось в оглушающий гул, — мне показалось, что туча демонов хочет ринуться в окно моей кельи; я вскрикнул и бросился к дверям, но убежать не было возможности: дверь снаружи была заперта. Я стучал, яростно кричал, а голоса каторжников как будто приближались, и мне показалось, что одно из этих страшных лиц заглянуло в окно... Я вскрикнул и лишился чувств.

XIV.

Когда я очнулся, уже настала ночь. Я лежал на тюфяке: при слабом мерцании фонаря, привешенного к потолку, я по обеим сторонам увидел ряды таких же тюфяков. Я понял, что меня перенесли в лазарет.

Несколько минут лежал я, открыв глаза, без мысли, без воспоминания, с единым отрадным сознанием, что лежу в постели. Конечно, в былые времена постель тюремного лазарета возбудила бы во мне жалость и

омерзение; но теперь я стал другим человеком. Простыни были грубые и серые, одеяло жиденькое, дырявое; вонь от соломенника пробивалась сквозь тюфяк... что нужды! За то я мог на этой грубой простыне вытянуть мои окоченелые члены, и под этим дрянным одеялом я все же пригрел мозг костей, который уже так давно застыл во мне. И я снова уснул.

Меня разбудил сильный шум. Заря только занималась. Шум был на дворе: моя постель стояла у окна, и я присел, чтобы взглянуть, что там происходит.

Окно выходило на большой двор Бисетра. Двор был битком набит народом; два ряда солдат инвалидной команды с трудом прочистили среди этой толпы свободный пут через весь двор. По этой дорожке, окаймленной солдатами, медленно тянулось пять длинных телег, нагруженных людьми. То были подводы каторжников.

Тележки были открытые и на каждой сидело по *канату*. Каторжники сидели по краям спинами друг к другу, разделенные общей цепью, лежащей вдоль телеги. По обоим концам цепи стоял этапный с заряженным ружьем. При каждом толчке цепи гремели; при каждом толчке пересыльные мотали головами и болтали ногами, высунутыми, из телеги.

Тонкая изморозь крутилась в воздухе, мокрые холщевые штаны, из серых сделавшиеся черными, плотно облекали их колена. С их длинных бород и коротко стриженных голов струилась вода; лица у всех синели от холода, они дрожали и скрежетали зубами от стужи и ярости. Иного движенья и сделать невозможно. Человек, однажды прикованный к общей цепи, составляет сустав этого целого, гнусного тела, называемого канатом. Тут должно отречься от мысли; ошейник каторжника ее могила; а что касается до животной стороны человека, то и на эти отправления свои узаконенные часы. Таким образом, недвижные, большею частью полунагие, с открытыми головами и свешенными ногами, они пускались в двадцатипятидневный путь, наваленные на

телеги, в одинаковой одежде и в июльский зной, и в ноябрьскую стужу.

Между толпой и сидевшими в телегах завязался разговор: с одной стороны раздавались проклятья, с другой дерзкие выходки; и с той и с другой угрозы; но по знаку капитана на телеги посыпался град палок по чем попало: по лицам, по плечам, и воцарилась наружная тишина, или так называемый *порядок*. Но мщение горело в глазах и кулаки несчастных судорожно сжимались.

Все пять телег, сопровождаемые взводом жандармов и отрядом пешей этапной команды, одна за другой скрылись под главными воротами Бисетра; за ними тянулась шестая, нагруженная котлами, медными кастрюльками и запасными цепями, несколько отсталых солдат догоняли бегом главный отряд. Толпа рассеялась и все исчезло, как тени волшебного фонаря. Постепенно замирали в воздухе глухой стук колес, топот лошадей по Фонтенеблосскому шоссе, щелканье бичей, бряцание кандалов и завыванья толпы, желавшей *несчастливого* пути галерникам.

Это только начало!

И адвокат еще говорил мне о каторге? Галеры! О, да! Лучше сто раз умереть, скорее эшафот, нежели каторга; скорее ничтожество, нежели ад! Подставляю лучше мою шею под нож доктора Гильотена, нежели под ошейник галерника!

Галеры! Каторга! Праведный Господи!

XV.

К несчастью, я не захворал. Но завтра я должен был выйти из лазарета. Опять каземат!

Я не захворал! И точно: я молод, здоров, крепок. Кровь свободно обращается в моих жилах, члены мои повинуются моей воле; я здоров телом и духом, и с моей комплекцией долго могу прожить... Все так! А между тем

во мне гнездится болезнь, болезнь смертельная, созданная руками человеческими.

С тех пор как я вышел из лазарета, моим рассудком овладела мысль страшная, которая сведет меня с ума! Если бы меня оставили в лазарете, я мог бы убежать. Эти доктора и сестры милосердия принимали во мне такое радушное участие. Тяжко умирать такой лютой смертью человеку молодому! Они теснились около моей постели с таким участием....

Вздор! Это было просто любопытство... К тому же эти люди могут вылечить меня от горячки, но не от смертного приговора. А им это было бы так легко!.. Стоило только открыть дверь... они бы не ответили за это!

Теперь нет надежды на спасенье! Апелляцию мою отвергнут потому, что приговор произнесен правильно: свидетели показали верно, обвинители уличили, судьи осудили как следует. А может быть... Нет вздор! Не на что надеяться! Приговор это веревка, на которой ты висишь над пропастью, и эта веревка постепенно трещит, утончается и наконец — обрывается. Топор гильотины в течении шести недель опускается на голову осужденного.

Если б меня помиловали? Помиловали? Но кто, за что, и как? Нет, меня не могут помиловать. Меня надобно казнить для примера, как они говорят.

До смерти мне остается три шага: Бисетр, Консьержери и Гревская площадь!

XVI.

В течении немногих часов проведенных мною в лазарете, я часто садился у окна, на солнце — оно проглянуло в тот день, и жадно впивал я в себя все количество лучей, которое скупно пропускали оконничные решетки.

Я сидел под окном, опустив голову на руки и облокотясь на колена, потому что руки не могли выносить

этой тяжести... Горе и физически сломило меня: тело мое гнется, как будто в нем нет ни костей, ни мускулов.

Удушливая тюремная атмосфера была мне невыносимее обыкновенного; в ушах еще раздавалось гуденье цепей; Бисетр утомил меня. Я подумал: что, если бы Господь сжалился надо мной, и послал бы хоть птичку на соседнюю кровлю, чтобы она пропела мне свою милую песенку, и утешила меня....

Небо или аль, не знаю, кто из двух, услышал мою молитву. Почти в ту же минуту под моим окном раздался голос, но не птички, а гибкий, звонкий голосок молоденькой пятнадцатилетней девочки. Я стал жадно прислушиваться к ее песенке. Напев был томный, протяжный, как унылое воркованье горлинки, а вот и слова:

Дозорные схватили —
Тра ля-ля-ля ли, ли!
И руки мне скрутили,
И в клетку повели!
Здоровая веревка!
Тра ля-ля-ля, ли, ли,
Скрутили больно ловко
Все руки затекли!

Каково было мое разочарование! Голос продолжал:

Иду я так смиренно...
Ли-ли, тра-ля-ля-ля,
А тут сосед почтенный
Окликнул вдруг меня:
«Что, милый мой, попался?» —
Смеясь сказал он мне.
— Ты кстати повстречался.
Скажи моей жене!

Заплачет, раскричится:
Тра ля-ля-ля, ли-ли!

«Как мог с ним грех случиться?
А ты ей объясни:
За то он взят чертями.
Что дуб большой срубил;
За то что желудями,
Карман себе набил!»

Жена в Версаль пустилась
Ли ли, тра-ля-ля-ля,
Жена моя решилась
Увидеть короля!
И подала прошение...
Король так ласков был —
Что ей свое решение
Сей час же объявил:

«Пожалуй, я избавлю —
Велю свободу дать:
За то его заставлю
На воздухе плясать!
Пусть меж двумя столбами
Без полу, без земли —
Подрыгает ногами!
Тра ля-ля-ля, ли-ли!»

Далее я не слышал, да и не в силах был слушать! Я понял, не смотря на воровское наречие, смысл этой ужасной песни; эту встречу разбойника с вором, при чем первый просит второго сказать своей жене, что он *срубил дуб* (убил человека); и как жена бежит в Версаль к королю с просьбою о помиловании, а король сердится, и отвечает, что он заставит ее мужа *проплясать на воздухе* без полу, без земли. И эти гнусные слова поют таким милым, сладостным голосом! И эти мерзости исходят из свежих, румяных уст молоденькой девушки. Точно слизь улитки на листках розана. Не могу выразить того, что я в эту минуту чувствовал; мне было и отраднo и противно. Какое странное сочетание этого гнусного наречия каторги и разбойничьего притона с милым, звонким голосом

молоденькой девушки! Нежный романс, прелестная мелодия и эти грубые, неблагозвучные, уродливые слова!

О! что за гнусная вещь ига тюрьма! Она наполнена ядом, который сквернил все... Песня пятнадцатилетней девочки, и то — мерзость! Поймайте здесь птичку, на ее крыльях грязь; сорвите возросший здесь цветок, понюхайте: от него воняет!

XVII.

Если б мне удалось. убежать, как бы я побежал по полям!

Нет! Бежать не следует. Это может навлечь подозрение... Напротив, следует идти тихо, напевая песню, высоко подняв голову. Надобно добыть откуда-нибудь синюю блузу с красными клетками, это самый удобный костюм. Так одеваются тысячи людей.

Близь Аркёйля, на берегу болота, есть чаща, куда, бывши мальчиком, по четвергам я ходил ловить лягушек. Там я спрячусь до вечера.

Как смеркнется, я пушусь в дальнейший путь. Пойду в Венсенн... Нет, там мне помещает река. Лучше в Арпажон... Нет! всего безопаснее в Сен-Жермен, оттуда в Гавр, а из Гавра в Англию. Но в Ленжюмо есть жандармы; у меня спросят паспорт — и тогда я пропал!

О, жалкий сумасброд, да пробей же сначала свой каменный гроб в три фута толщины! Смерть! смерть!

И как я подумаю, что в детстве я ходил в Бисетр смотреть на большой колодезь и на сумасшедших!

XVIII.

Покуда я писал эти строки, свет лампы побледнел, рассвело и церковные часы, пробили шесть.

Что же это значит? Дежурный сторож вошел в мой каземат, снял фуражку, извинился, что потревожил меня, и спросил, сколько возможно смягчая свой голос: не угодно ли мне позавтракать?

У меня, мороз пробежал по коже. Неужели... сегодня?

XIX.

Да, сегодня!!

Сам, директор явился ко мне с визитом. Спросил, чем может мне быть приятным или полезным, и выразил желание, чтобы я не жаловался ни на него, ни на подчиненных. С участием расспросил меня о здоровье и о том, как я провел ночь. Прощаясь, он назвал меня мосье...

XX.

Этот тюремщик воображает, что мне не на что жаловаться на него или его подчиненных. Правда, дурно было бы с моей стороны жаловаться на них; они исполняли свое ремесло; стерегли меня, при встрече и при проходах были вежливы. Чего же мне еще?

Этот милый тюремщик с своей благодушной улыбкой, ласковыми словами, взглядом, который льстит и вместе с тем следит за мной как шпион, этот тюремщик с его толстыми широкими лапами — Бисетр в образе человеческом.

Вокруг меня — все тюрьма: тюрьма во всех видах, в виде решетки и дверного замка.

Эти стены — тюрьма из камня, дверь — тюрьма из дерева; тюремщики — живые тюрьмы из мяса и костей.

Тюрьма — род какого-то ужасного чудовища, получеловека, полуздания. Я — его жертва, оно не сводит с меня глаз, оно опутывает меня в своих кольцах; оно

замыкает меня в своих гранитных стенах, держит меня под замком; глядит за меня глазами тюремщика.

Что со мной будет? что они со мной сделают!

XXI.

Теперь я спокоен. Все кончено, кончено. Я выведен из сомнения, в которое ввел меня визит директора.

Потому что, признаюсь, я все еще надеялся. Теперь, слава Богу, я уже не надеюсь.

Вот как было дело:

Когда пробило половину седьмого — нет, четверть седьмого — дверь моего каземата опять отворилась. Вошел седой старик в коричневом бекеше. Он расстегнулся, и я увидел рясу и пасторские краги. Это был пастор.

Пастор не тюремный... худо!

С благосклонной улыбкой он сел против меня, потом покачал головой, поднял глаза к небу, то есть к своду темницы. Я его понял.

— Сын мой, — сказал он, — приготовились ли вы?

Я отвечал слабым голосом: «Не приготовился, но готов».

Однако же в глазах у меня помутилось, холодный пот выступил у меня во всему телу, жилы на висках надулись, в ушах загудело.

Я качался на стуле как засыпающий, старим говорил.

Так по крайней мере мне казалось, и помнится, что губы его шевелились, руки махали, глаза блестели.

Дверь вторично отворилась. Скрип запоров пробудил меня от моего оцепенения, а пастора прервал. Явился какой-то чиновник, весь в черном, сопровождаемый директором. Вошел и глубоко мне поклонился. На лице этого человека была какая-то пошлая, форменная грусть,

как на лице похоронного официанта. В руках он держал сверток бумаги:

— Мосье, — сказал он с вежливой улыбкой, — я стряпчий парижского уголовного суда. Имею честь вручить вам отношение господина генерал-прокурора.

Первый удар был нанесен. Я оправился и собрался с мыслями.

— И так, — отвечал я ему, — это господин генерал-прокурор там настоятельно требовал моей головы? Очень лестно для меня, что он изволит мне писать. Надеюсь, что смерть моя доставит ему большое удовольствие; потому что мне грустно было бы думать противное!

Высказав ему все это, я прибавил твердым голосом: «Читайте!»

Он принялся читать нараспев и приостанавливаясь на каждом слове какую-то длинную историю. Это был отказ на мою апелляцию.

— Приговор имеет быть исполнен сегодня на Гревской площади! — прибавил он, окончив чтение и не отрывая глаз от бумаги. — Ровно в половине восьмого мы отправимся в Консьержери. Угодно ли вам будет следовать за мной?

Несколько минут я его не слушал. Директор разговаривал с пастором; тот смотрел на бумагу, я — тна полуотворенную дверь... А! в коридоре стояли четыре карабинера.

Стряпчий повторил вопрос, и на этот раз взглянул на меня.

— Как вам угодно! — отвечал я. — Сделайте одолжение!

Он поклонился и сказал:

— Через полчаса я буду иметь честь приехать за вами.

Тогда они оставили меня одного.

Боже, как бы убежать! Нет ли какого-нибудь средства? А я должен убежать! Да! сейчас же! В дверь, в окно, чрез кровлю.... хотя бы при этом пришлось ободрать с костей часть мяса...

Ярость! Демоны! Проклятье! Чтобы пробить эту стену нужен месяц времени с хорошими орудиями... а у меня ни гвоздя, ни даже одного часа!

XXII.

Консьержери.

Меня *препроводили*, как сказано в протоколе. Впрочем, это путешествие надобно описать.

Только что, пробило восьмого половина, на пороге моей кельи опять явился стряпчий.

— Мсье, — сказал он, — я жду вас.

Увы! не он один ждал меня.

Я встал и сделал шаг; мне показалось, что второго шага я не сделаю, до того голова моя отяжелела, а ноги ослабели. Однако же я собрался с силами и пошел довольно твердо. Выйдя из каземата, я оглянулся. Я любил его. Я покинул его пустым и настежь отворенным; открытый настежь каземат — странное зрелище!

Впрочем он опустел ненадолго. Сегодня вечером сюда ждут кого-то, говорят тюремщики, человека, которого теперь приговаривают к смерти в уголовном суде.

На повороте коридора нас догнал пастор. Он завтракал.

При выходе из тюрьмы директор любезно взял меня за руку и подкрепил конвой еще четырьмя инвалидами.

Когда я проходил мимо лазарета, какой-то умирающий старик крикнул мне: «До свидания!»

Мы вышли во двор; я вздохнул свободнее и это меня облегчило.

Не долго мы шли. На первом дворе стояла карата, запряженная почтовыми лошадьми: в этой же самой карете меня везли в Бисетр. Она вроде длинного кабриолета и разделена поперек проволочной решеткой, плотной, как вязанье. У каждого отделения была особая дверца, одна спереди, другая сзади экипажа. Все засалено, черно, грязно до того, что в сравнении с этим при экипажем дороги — парадная колесница.

Прежде, нежели войти в этот двухколесный гроб, я оглянулся на двор тем отчаянным взглядом, пред которым должны бы рухнуть и самые стены. Малый двор, обсаженный деревьями, был набит народом еще теснее, как было при отправке каторжников. Уже и тут толпа!

Как и в тот день, шла и теперь, изморозь, осенняя, ледяная — идет в эту минуту, когда я пишу эти строки, и весь день будет моросить она, и меня переживет.

На мостовых была слякоть, лужи; двор залит водой. Мне отраднo было видеть толпы людей на этой грязи.

Мы сели в карету: в одно отделение стряпчий с жандармом, в другое — я с пастором и другим жандармом. Вокруг кареты четыре жандарма верхами. И так, кроме почтальона, восемь человек на одного.

Когда я входил в карету, какая-то старуха с серыми глазами сказала: «Мне это нравится лучше, нежели при пересылке галерников!»

Поверю. Это зрелище компактнее; его удобное обнять одним взглядом; тут глаза не так разбегаются. И мило и удобно. Тут один только человек и он один терпит столько же мучений, сколько все каторжники вместе. Это зрелище, можно сказать, вкуснее, как эссенция какого-нибудь напитка.

Карета тронулась в путь. Глухо прогудела она, проезжая под сводом ворот и при повороте на улицу. Тяжелые ворота Бисетра захлопнулись за нами. Я

чувствовал то же, что чувствует погребаемый в летаргическом сне: самосознание при мне, а чувства будто окаменели. Смутно долетали моего слуха отрывистое бряцанье бубенчиков на лошадях, стук окованных колес по мостовой и скрип каретного кузова при толчках об ухабы, топот копыт жандармских лошадей и щелканье бича почтальона. Все это сливалось в какой-то вихрь, и этот вихрь мчал меня!

Сквозь решетчатое каретное окошко, я прочел надпись крупными буквами над главными воротами Бисетра: *Богадельня для престарелых.*

— Вот как! — подумал я. — Так есть люди, которые состареваются в Бисетре.

И как оно бывает во время дремоты, я всячески переворачивал эту мысль в моем уме, изнуренном страданиями. Вдруг карета своротила с дороги, и я увидел другую картину в рамке каретного окошка. Явились башни собора парижской Богоматери, синевшие сквозь туман, влажным саваном покрывавший город. Мысли мои в ту же минуту изменились. «Стоящим на башне, где флаг, будет отлично видно!» — сказал я сам себе, глупо улыбаясь.

Кажется, в эту самую минуту пастор стал мне опять что-то говорить; я терпеливо слушал. В ушах моих уже раздавался стук колес, щелканье бича, стук копыт... один лишний звук тут уже ровно ничего не значит.

Я молча выслушивал это однообразное падение слов, и оно усыпляло меня как журчание фонтана; и слова мелькали мимо моих ушей, как мелькали перед глазами деревья, окаймлявшие дорогу. Вдруг меня пробудил резкий голос стряпчего:

— Ну что, господин аббат, — сказал он пастору почти веселым голосом, — не слыхали ли вы чего новенького?

Пастор за собственными разговорами и стуком колес, не слышал вопроса.

— Эх! — громко крикнул стряпчий, стараясь заглушить стук колес, — адская карета!

Действительно, адская!

Он продолжал:

— Право так! Это какой-то подвижной каземат, невозможно слышать друг друга. Что я такое говорил? Не припомните ли, что я такое сказал почтенному аббату? Да, знаете ли вы важную сегодняшнюю новость?

Я вздрогнул, как будто речь шла обо мне.

— Нет, — отвечал пастор, который наконец расслушал, что ему говорили, — сегодня утром я не успел прочитать газет: пересмотрю их вечером. Когда я целый день бываю занят, то велю обыкновенно привратнику отдавать мне при возвращении домой и тогда читаю.

— Однако же, — возразил стряпчий, — не может быть, чтобы вы этого не знали. Городская новость! Новость сегодняшнего утра!

Я решился сказать ему:

— Кажется, я ее знаю.

Стряпчий взглянул за меня.

— Вы! Неужто! Скажите же в таком случае, какого вы о ней мнения?!

— Какой вы любопытный! — сказал я.

— Почему же любопытный? — возразил стряпчий. — У каждого свое политическое убеждение. Я слишком уважаю вас, чтобы не допускать в вас своего мнения. Что до меня, я совершенно согласен с восстановлением национальной гвардии. Я был сержантом в нашем квартале, я это, право, очень приятно.

Я прервал его:

— Я никак не думал, что вы говорите об этой новости.

— А то о какой же? Про какую же новость вы мне сказали?..

— Я говорил вам о другой новости, которая сегодня занимает весь город!

Дурак меня не понял; я возбудил в нем любопытство.

— Другая новость? Да от кого же вы могли узнать. Что это такое? Скажите пожалуйста!.. Не знаете ли вы, господин аббат? Может быть, до вас она дошла еще прежде... Сделайте милость, скажите, что же? В чем дело? Я страстный охотник до новостей, я рассказываю их президенту, и это его забавляет!

И наговорил кучу пустяков! То обращался он к пастору, то ко мне, а я отвечал ему, только и пожимая плечами.

— Да о чем же выдумаете? — спросил он меня.

— Думаю о том, что сегодня вечером перестану думать.

— А а! вот что! Ну, я вам, скажу, вы очень печальны. Господин Кастен разговаривал.

Потом он продолжал после минутного молчания:

— Я сопровождал и г. Папавуана. На нем была надета его выдровая фуражка и он курил сигару. Ларошельские молодцы говорили между собой, не все же говорили.

Опять помолчал.

— Угорелые! полоумные! С каким презрением они на всех посматривали. Но что до вас касается, молодой человек, то я нахожу, что вы очень задумчивы.

— Молодой человек! — возразил я. — Да я постарше вас! Потому что с каждой четвертью часа я старею целым годом.

Он быстро обернулся, несколько минут смотрел на меня с недоумевающим удивленьем, потом тяжело засмеялся.

— Полно вам шутить! Ну можно ли, чтобы вы были старше меня? Я гожусь вам в дедушки.

— Я не намерен смеяться! — отвечал я ему серьезно.

Он открыл табакерку.

— Ну полноте, не сердитесь. Понюхайте табачку и помиримся.

— Не бойтесь моей досады! Мне недолго досадовать.

В эту минуту от толчка кареты его табакерка ударилась об разделявшую нас проволочную сетку и открытая упала за под к ногам жандарма.

— Проклятая решетка! — вскричал стряпчий.

Потом оборотился ко мне:

— Не несчастный ли я человек? Весь табак просыпал!

— Я теряю больше вас! — отвечал я с улыбкой.

Он попробовал подобрать табак, ворча при этом: «Больше меня... легко сказать, а каково мне ехать до Парижа без табаку! Просто горе!»

Пастор сказал ему несколько слов в утешение, и, может быть и я ошибся — но мне показалось, что это было продолжение тех увещаний, которые он сначала обращал ко мне. Мало-помалу стряпчий и пастор затеяли разговор; я предоставил им говорить, а себе — думать.

Когда мы подъезжали к заставе, мне показалось, что городской шум сильнее обыкновенного.

Карета на минуту остановилась у таможенной рогатки: в нее заглянули городские досмотрщики. Если бы вели на бойню быка или барана, за них заплатили бы установленную пошлину в пользу города, но человеческую голову пропускают беспошлинно. Мы проехали.

Миновав бульвар, карета помчалась по старым извилистым улицам предместья Сен-Марсо и Сите, которые разбегаются по разным направлениям, как

тропинка в муравейнике. Стук колес по мостовой этих улиц был так скор и гулок, что заглушил самый городской шум. Выглядывая из окна и заметил, что толпы прохожих останавливаясь смотрят в карету, дети бегут за ней. Я заметил еще, на перекрестках, оборванных старух и стариков поодиночке, а где и попарно, держащих в руке пачки печатных листков; и прохожие разбирали их нарасхват, вырывая друг у друга...

Часы палаты пробили девятого половину, в ту минуту когда мы въезжали во двор Консьержери. Ледяной холод оковал меня, когда я взглянул на большую лестницу, черную часовню, мрачные будки. Когда остановилась карета, я подумал, что вместе с ней остановится во мне и биение сердца.

Я собрал все свои силы... Ворота отворились с быстротой молнии: я вышел и подвижного каземата, и большими шагами прошел мимо двух рядов солдат... Уже и здесь стояла толпа на проходе!

XXIII.

Проходя до обширным галереям палаты правосудия, я воображал себя почти свободным; но твердость; и спокойствие покинули меня, когда предо мной опять явились низенькие двери, потайные лестницы, мрачные своды, темные коридоры, по которым ходят одни только приговаривающие — или — приговоренные к смерти.

Стряпчий следом шел за мной. Пастор уехал, обещая возвратиться через два часа: у него были свои дела.

Меня довели до кабинета директора, которому стряпчий сдал меня. Это был размен. Директор попросил его подождать минуту, говоря, что, ему сейчас дадут еще *дичинки*, для препровождения в Бисетр, в карете. Речь шла вероятно о сегодняшнем приговоренном, который вечером ляжет спать на едва помятую мною охапку соломы.

— Хорошо, — отвечал стряпчий директору, — я подожду минутку; мы заодно напишем оба отношения! И

прекрасно.

Меня в ожидании ввели в небольшую комнату, смежную с директорским кабинетом. Дверь, разумеется, крепко на крепко замкнули.

Не знаю, о чем я думал, и долго ли был тут, как грубый хохот, раздавшийся у самого уха, пробудил меня от задумчивости.

Я поднял глаза и вздрогнул. Я был не один в комнате: со мною был еще человек, мужчина лет пятидесяти пяти, среднего роста, сутуловатый, с морщиноватым лицом, седоватыми волосами, с серыми косыми глазами, с ядовитой улыбкой на лице; грязный, в лохмотьях, отвратительный.

Я и не заметил, как дверь отворилась, выплюнула его и снова захлопнулась. Если бы так же смерть могла подкрасться ко мне!

Несколько минут мы посматривали друг на друга, он, продолжая хохотать — с хохотом, напоминавшим мне предсмертный колоколец умирающего; я — с удивлением и испугом.

— Кто вы? — сказал я наконец.

— Смешной вопрос! — отвечал он. Я — свежинка.

— Это что же такое: свежинка?

Мой вопрос усилил его веселость.

— Это значит, отвечал он сквозь смех, что через шесть недель *кум* запрячет в корзинку мою *сорбонну*, точно также как твой *чурок* — через шесть часов. Эге! понял теперь?^[1]

Действительно, я побледнел и волоса дыбом встали у меня на голове! Это был вновь приговоренной к смерти, которого ожидали в Бисетре, мой преемник.

Он продолжал:

— Ты еще что хочешь звать? Вот тебе, пожалуй, вся моя история. Я сын ловкого шукаря; жаль только; что

Шарло^[2] в один прекрасный день повязал ему галстук. В те времена еще *вдовушка* в ходу была. Шести лет я остался круглым сиротой: летом я кувыркался колесом на проезжих дорогах, чтобы выманить у проезжавших грош, другой; а зимой босиком в разорванных штанах бегал по замерзлой грязи, свистя в посинелые кулаки. Девяти лет — пустил в ход своих *косых*^[3], при случае очищал *яму*^[4], *плел шелуху*^[5]. Десяти лет я уже был *мастаком*^[6]. Потом свел знакомства; и семнадцати лет был *скрипуном*^[7], делал взломы в *бочках*^[8], подделывал *вертунов*^[9]: Меня и поймали; так как я был уже на возрасте, то и сослали в *гребную флотилию*^[10]. Каторга — штука тяжелая: спишь на голых досках, пьешь чистую воду, ешь черный хлеб, таскаешь за собой ядро, в котором нет проку; солнцем тебя печет да палками жарят. Да сверх того, башку выстругают, а у меня были славные, русые волосы! Чорт их побери! отжил! лет отбарабанил, и минуло мне тридцать два. Дали мне в одно прекрасное утро паспорт и шестьдесят шесть франков, заработанных на галерах, по шестнадцати часов в сутки, по тридцати дней в месяц, по двенадцати месяцев в год. Все равно, я, с моими шестидесяти шестью франками, задумал остепениться, и под моими лохмотьями забилося, сердце. Черт бы побрал мой распроклятый паспорт, он был желтый с подписью: *был на галерах*. Его следовало показывать всюду, куда бы я ни прибыл на жительство, и каждое восемь дней предъявлять мэру той деревни, где мне велели *гнить*.^[11] Славная рекомендация! Галерник, каторжник! Меня чуждались как пугала, дети бегали от меня, двери перед носом захлопывали. Никто не давал работы. Деньги мои я проел; а жить надобно чем-нибудь. Я протягивал к людям мои здоровые руки, прося работы, меня выталкивали в шею. Я брался работать поденно за пятнадцать, за десять, за пять су. Нет! что тут станешь делать? Раз, я был голоден и вышиб стекло в булочной, схватил хлеб, а меня схватил булочник. К хлебу я и не прикасался, но за это меня присудили на вечные галеры, да еще на плече каленым железом три буквы выжгли — хочешь, покажу. Это на судейском диалекте зовется: *вторичным поползновением*.

И так я опять *покатил на обратный*^[12], опять в Тулон, и на этот раз под *зеленую шапку*^[13]. Надобно было улизнуть. Для этого следовало прокопать три стены, распилить две цепи — а у меня был гвоздь. Я — дал тягу. Выпалили из пушки... потому что нам, как римским кардиналам, почет: и в красное платье одевают и стреляют из пушек, когда мы уходим со двора. Пожгли они порох по-пустому. На этот раз я был, правда, без желтого билета, но за то и без денег. Повстречался с приятелями, которые подобно мне срок выслужили, либо сеть прогрызли. Их *голова* предложил мне вступить в их компанию, а они *смолу варили*^[14]. Я согласился, и чтобы жить, стал убивать: то нападали мы на дилижанс, то на почтовой брик, то на конного гуртовщика. Деньги обирали; карету или гурты пускали на все четыре стороны, а убитых хоронили под деревом, причем старались, чтоб ноги из-под земли не торчали; потом плясали на могиле, чтобы притоптать землю, чтобы кто не заметил, что она изрыта. Так я и состарелся, сидя на стороже в кустах, проводя ночи под открытым небом; бродя из лесу в лес... хоть и жутко, да за то свободен, и сам себе господин. Но всему есть конец — дело известное. Раз ночью *веревочники*^[15] захватили нас. Мой товарищи разбежались, а я, как самая старая крыса, попался в когти котов в трёхугольных шляпах. Приволокли меня сюда. Я уже прошел по всем ступенькам, кроме одной. Теперь мне, что платок утащить, что человека убить — все одно, накажут одинаково, ради *совокупности*, отдадут *косарю*^[16]. Мое следственное дело не долго тянулось. Да и хорошо, потому что уж я стареть начал и ни к чему до годен. Отец мой *женился на вдовушке*^[17], а я поступаю в монастырь на Плачевную гору^[18]. Вот тебе, дружище, и вся моя история.

Слушая его, я как-то отупел. Он захохотал громче прежнего и хотел взять меня за руку. Я с ужасом отшатнулся.

— Друг, — сказал он, — ты видно не из храбрых. Смотри *не разнюнься перед курносой*^[19]. Самая скверная минута — когда привезут на *плакарду*^[20]. А там — мигом

покончат. Жаль, не могу я тебе на месте показать, как топор по блоку пускают. Пожалуй, я и апелляции не подам, чтобы меня за одно с тобой сегодня обкарнали. У них будет один пастор, хочешь, я пожалуй тебе его уступлю. Видишь ли, я добрый малый. А? Как думаешь? По рукам, что ли?

И он опять подошел ко мне.

— Нет, сударь, — отвечал я, отдаляя его, — благодарю вас.

Опять он захохотал мне в ответ.

— Ага! сударь! маркиз? Вы видно маркиз?

Я прервал его:

— Друг мой, я хочу помолиться. Оставьте меня.

Звук моего голоса поразил старика, веселость его исчезла. Он покачал своей седой, полуплешивой головой, потом, царапая свою мохнатую грудь под рубахой, «Понимаю», сказал он.

Потом он произнес, после нескольких минут молчания:

— Что вы маркиз, это прекрасное дело — но на вас надет отличный сюртук, который вам уже не долго послужит, а достанется, палачу. Подарите-ко его мне, а я продам, и табачку куплю.

Я снял сюртук и отдал. Он захлопал в ладоши, как дитя. Потом видя, что, я дрожу из одной рубашке, он сказал: «Вам, сударь, холодно; так вы вот это наденьте; и от дождя закроетесь и будете на тележке прилично одеты».

И он снял свою грубую серую куртку и накинул мне на плечи; я не сопротивлялся. Я только прислонился к стене... Не могу выразить своих чувств к этому человеку. Он между тем разглядывал мой сюртук, переворачивал его и ежеминутно радостно вскрикивал:

— Карманы-то новехоньки! И воротник не засален... О, да мне за него франков пятнадцать дадут! Экая

благодать! Вот мне и табак на все шесть недель!

Дверь отворилась. За нами пришли, чтобы меня вести в комнату, где приговоренный сидит до отъезда на площадь; а его — в Бисетр. Он, смеясь, встал среди конвоя и сказал жандармам:

— Смотрите, не ошибитесь! Мы с этим господином, поменялись шелухой, так вы не примите меня за него... Нет, черт возьми. Теперь я еще погожу умирать... у меня на шесть недель будет табачку.

XXIV.

Старый злодей отнял мой сюртук, а мне дал лохмотья, свою позорную куртку. На кого я теперь стал похож?

Я уступил ему свой сюртук не по беспечности, не из жалости, а просто потому что он сильнее меня. Если б я честью не отдал, он бы избил меня своими сильными кулаками.

Из жалости! какая тут жалость? Во мне кипят дурные чувства. Я хотел задушить своеручно этого старого разбойника! Под ногами в пыль растереть!

Сердце мое полно горечи и ярости. Я думаю, во мне порвался желчный пузырь.

Как зол человек перед смертью!

XXV.

Меня ввели в комнату, в которой кроме четырех голых стен ничего нет. Само собою, что окна с множеством решеток; двери со множеством замков.

Я попросил, чтобы мне дали стол, стул и письменные принадлежности. Все это мне принесли.

Я попросил, чтобы принесли кровать. Сторож с таким удивлением посмотрел на меня, точно хотел сказать:

зачем?

Однако же в углу соорудили какую-то койку. Тотчас же явился жандарм и уместился в моей, так называемой, *комнате*.

Не боятся ля они, что я задушу себя под тюфяком?

XXVI.

Десять часов!

Бедная дочь моя! Еще шесть часов — и я умру! Превращусь в какую-то гадость, которую притащат на холодный стол анатомического театра. В одном углу снимут слепок с головы, а в другом будут препарировать мой труп... потом остатками набьют гроб и свезут в Кланар!

Вот что будет с твоим отцом, вот что с ним сделают эти люди, из которых ни один не ненавидит меня, которого все они жалеют и могли бы спасти! А они убьют меня. Понимаешь ли ты это, Мария? Убьют, так хладнокровно, с церемонией, ради общественного блага!

Господи! Господи!!

Бедная ты, моя крошка! Отец так любил тебя, так цаловал твою беленькую душистую шейку, играл твоими шелковистыми кудрями, брал твое кругленькое личико в руки, заставлял тебя прыгать у себя на коленях, а по вечерам складывал твои ручонки и учил молиться Богу!

О! если бы присяжные видели мою Марию, они бы поняли, что не следует убивать отца трехлетней малютки!

Подрастет она — если доживет — что из нее будет? Отец ее будет воспоминаньем простонародья. При воспоминании обо мне, при моем имени она покраснеет, а сама будет отвержена, презрена, опозорена из-за меня, из-за меня — который обожает ее всеми силами души. О, моя малютка, птенчик мой ненаглядный! Неужели ты будешь ужасаться и стыдиться меня?

Проклятый! Какое преступление я совершил, какое преступление из-за меня совершает все общество!

Неужели к вечеру меня не будет в живых? Неужели это я? Неужели, для меня и этот глухой ропот народа на улице, и жандармы, готовящиеся в казармах, и пастор в черной рясе, и, *тот...* он, с красными руками?... И все это для меня? И я — умру! Я — сидящий здесь, дышащий, движущийся, сидящий за столом, который похож на обыкновенные столы, я — мыслящий, чувствующий?...

XXVII.

Если бы я еще знал устройство этой машины и как она убивает; но к пущему моему ужасу — не знаю!

Имя-то само, по себе страшно, я я до сих пор понять не могу, как выговаривал, писал это слово!

Эти девять букв, их очертание, их вид внушают ужас, и в самом имени ее изобретателя доктора звучит что-то роковое!

При этом слове в моем разуме является смутный очерк машины. Каждая буква имени — как будто ее составная часть. Я ежеминутно складываю и разбираю отдельные части этой сложной машины.

Расспросил бы кого-нибудь... а то не знаю, как тут надобно действовать. Кажется, устройство ее такого рода: доска, на эту доску меня положат ничком.

Ах! кажется, волосы, мои поседеют прежде, нежели голова падет под топором!

XXVIII.

Однако же раз в жизни я ее видел.

Однажды, часов в одиннадцать утра я проезжал в карете по Гревской площади. Вдруг карета остановилась.

Площадь была покрыта народом. Я выглянул из дверец. Гревская площадь была как, будто вымощена головами, а на набережной на парапетах стояли мужчины, женщины, дети. Выше всех голов я увидел какие-то красные перила, которые приколачивали трое людей.

В этот самый день должны были казнить приговоренного к смерти и ставили машину.

Я отвернулся, не успев разглядеть. Подле кареты женщина говорила ребенку:

— Посмотри! Топор худо скользит по желобу, и они смазывают края салным огарком.

Сегодня, вероятно, происходит то же самое. Пробило одиннадцать. Теперь они, вероятно, смазывают желобы.

На этот раз я не отвернусь.

XXIX.

О, мое помилование! Может быть, меня еще помилуют. Король на меня не сердится. Попрошу сходить за адвокатом, скорей за ним! Я выбрал галеры. Пять лет каторги, и дело с концом, или двадцать, или навеки, с наложением клейм каленым железом. Лишь бы пощадили жизнь!

Каторжник на галерах все же двигается, видит солнце.

XXX.

Пастор возвратился.

У него седые волосы, взгляд кроткий, лицо доброе, почтенное; и действительно, это прекрасный, редкой души человек. Сегодня утром он высыпал весь свой кошелек в руки арестантов. Отчего только в голосе его нет ничего трогательного и трогającego? Отчего до сих пор он не

сказал мне ни слова, которое запало бы мне в разум или сердце?

Сегодня утром я был вне себя. Я едва слышал, что он говорил. Однако же слова его показались мне бесполезными, и я остался равнодушным. Они скользили мимо ушей моих, как холодная изморозь скользит по оконнице.

Теперь же, когда он пришел ко мне, вид его был мне отраден. Из всех людей, подумал я, один он еще человек для меня. И я жаждал услышать от него доброе, утешительное слово.

Мы сели, он на стул, я на постель. Он сказал: «Сын мой!» — и это слово растворило мне сердце. Он продолжал:

— Сын мой, веруете ли в Господа?

— Верую, батюшка! — отвечал я.

— Вруете ли во святую апостольскую, католическую церковь?

— Охотно! — отвечал я.

— Сын мой, вы как будто сомневаетесь...

И он пустился в длинные рассуждения, и долго говорил, и сказал много слов; потом, полагая, что этого достаточно, встал, первый раз во все время взглянул мне в лицо и спросил:

— Что скажете?

Признаюсь — сначала я слушал его с жадностью, потом с покорностью.

Я тоже встал и отвечал:

— Батюшка, сделайте милость, оставьте меня одного.

Он спросил:

— Когда же прийти?

— Я вас уведомя.

Он вышел, не говоря ни слова, покачав головой, как будто желая сказать: безбожник!

Нет, как бы низко ни упал я, но я не безбожник, и Бог мне свидетель, что и в Него верую. Но что сказал мне этот старичок? Ни слова, прочувствованного, умилительного, окропленного слезами, исторгнутого живьем из души, ничего от сердца. Напротив, речь его была какая-то странная, нерешительная, применимая ко всякому человеку. Она была насыщена там, где должна была быть глубокой, плоска — где должна бы был простой... Это был род сентиментальной проповеди и семинарской элегии. Кой-где латинский текст из Святого Августина или Фомы Аквинского, что ли! Кроме того, пастор точно отвечал урок, задолбленный и двадцать раз репетированный! Глаза его были без взгляда, голос без чувства, руки без движения.

Да и как быть иначе? Этот пастор — штатный тюремный духовник. Его должность состоит в утешении и увещании, он этим кормится. Арестанты и каторжники — вот пружины его красноречия. Он их исповедует, уговаривает — по казенной надобности. Он состарелся, провожая людей на смерть. Он давно привык к тому, что других людей приводит в трепет. Его напудренные волосы лежат себе спокойно на голове и не поднимаются дыбом. Каторга и плаха для него дело обыденное. Он насытился ужасами. У него должно быть есть такая тетрабочка: на одной странице слово к галерникам, на другой — слово к приговоренным к смерти. Накануне его повешают, что завтра в такой-то надобно посетит такого-то; кого? Галерника или приговоренного? и, судя по надобности, прочтет ту или другую страницу, и идет куда нужно. Так и значит, что идущие в Тулон или на Гревскую площадь, для него — общие места, и сам он для них — общее место.

Отчего бы вместо этого не пригласили какого-нибудь деревенского священника, молодого или старика, из первого прихода! Отчего бы не позвать его от теплого комелька, от книги, за которой бы этот человек сидел в ту минуту, когда ему сказали бы: «Человек готовится к смерти, и вы должны его напутствовать. Будьте при нем,

когда ему свяжут руки, когда ему остригут волосы; сядьте с ним на позорную телегу, с распятием в руках, и сядьте там, чтобы загородить собой палача; по тряской мостовой доезжайте с ним до Гревской площади, пройдите с ним сквозь кроважадную толпу, у самой плахи обнимите его, и пробудьте тут до тех пор, покуда ему не отделят голову от туловища». Пусть приведут ко мне этого священника, бледного, дрожащего; пусть меня бросят в его объятья, толкнут к его ногам... Он прослезится, мы оба поплачем, и он будет красноречив, и я буду успокоен, и я перелью скорбь моего сердца в его сердце, вручу ему душу мою, а он передаст ее Богу.

А этот старичок? Что он для меня? Что я для него? Тварь ничтожной породы, тень, — одна из множества теней, им виденных, единица, которую прибавят к общей сумме, казненных.

Может быть, я и не прав, отталкивая его от себя, он хорош, а я дурен... Увы! Это не моя вина. Мое тлетворное дыхание, дыхание приговоренного к смерти, отравляет все.

Мне принесли есть, они воображают, что мне нужно. Кушанье изящно приготовлено, кажется, жареный цыпленок и еще что-то...

Попробовал я поесть, но при первом же куске выплюнул... Кушанье показалось мне горьким и вонючим!...

XXXI.

Вошел мужчина со шляпой на голове, который, едва взглянув на меня, вынул из кармана складной аршин и стал мерять стену снизу вверх, по временам громко говоря: «Так!» или «Нет, не так!»

Я спросил у жандарма: «Кто это?» — «Помощник тюремного архитектора».

Я с своей стороны возбудил его любопытство. Он вполголоса спросил о чем-то сопровождавшего его

сторожа, потом с минуту посмотрев на меня беспечно, покачал головой, опять принялся мерять и разговаривать.

Окончив работу, он подошел ко мне и громко сказал:

— Через полгода, мой любезнейший, эта тюрьма будет перестроена и будет гораздо лучше.

Жест его как будто досказал: жаль только, что вам это ни к чему!

Он чуть не улыбнулся. Я ждал от него игривой шуточки, в роде тех, какие отпускают молодой женщине по возвращении ее из-под венца.

Мой жандарм, старый инвалид с шевронами, отвечал за меня.

— Сударь, — сказал он, — не годился так громко говорит в комнате покойника.

Архитектор ушел. Я стоял как один из камней, которые он мерял.

XXXII.

После того со мной случилось смешное приключение.

Старого доброго жандарма сменили, и я, неблагодарный, даже не пожал ему руки. Вместо него пришел другой, с приплюснутым лбом, воловьими глазами и тупым выражением лица.

Впрочем, я не обратил на него особенного внимания. Я сел спиной к дверям, у стола, поглаживая лоб рукою, чтобы освежиться. Мысли мои путались.

Кто-то легко тронул меня за плечо, я поднял голову. Это был новый жандарм, оставленный в моей комнате.

Вот что, сколько могу припомнить, он сказал мне:

— Решенный, доброе у вас сердце?

— Нет, — отвечал я.

Мой резкий ответ кажется его смутил; однако же он продолжал нерешительно:

— Нельзя же быть злым ради удовольствия.

— Почему бы и нет? — возразил я. — Если вы только это хотели сказать мне, то можете меня оставить. Вы к чему меня об этом спросили?

— Виноват, — отвечал он. — Всего два слова. Вот в чем дело: хотите ли осчастливить бедного человека? Вам это равно ничего не будем стоить... Неужели вы не решитесь?

Я пожал плечами.

— Да что вы, из сумашедшего дома что ли? Странную вы выбрали урну, чтобы вынуть счастливый жребий. Как и кого я могу осчастливить?

Он понизил голос и с таинственным видом, плохо ладившим с его идиотской физиономией, сказал:

— Да, решенный, да, счастье! благополучие! И все это вы можете сделать. Я, изволите видеть, бедный жандарм. Служба тяжелая, жалованьице легонькое, у меня собственная, лошадь и это мое разоренье. Я и вздумал взять билеты в лотерею... надо же чем-нибудь промышлять! До сих пор, сколько ни брал билетов — все пустышки. Ищу, ищу таких, чтобы наверняка выиграть, и все верчусь вокруг да около. Беру, например, номер 76, а 77 выигрывает. Переменяю, — и все мало толку... Позвольте, я сейчас доскажу: — кажется, что, извините... сегодня вас решат. Казненные, говорят, знают наверное выигрышные номера. Не будете ли столь добры, обещайте мне пожаловать ко мне завтра вечером... вам это ничего не значит, и скажите три верные номера. Будьте спокойны, я покойников не боюсь. А вот мой и адрес. Попенкурские казармы, лестница А, № 26, в глубине коридора. Ведь вы узнаете меня, не правда ли? Если угодно, пожалуйста, даже сегодня вечером.

Я бы не ответил этому олуху, если бы внезапная безумная надежда не промелькнула у меня в голове. В

моем отчаянном положении человек воображает, что может волоском перерубить цепь.

— Слушай, — сказал я, притворяясь, насколько это возможно готовящемуся к смерти, — действительно, я могу сделать тебя богаче короля, дать тебе миллионы, но только с условием.

Он вытаращил глаза.

— С каким? Все, что вам угодно.

— Вместо трех верных нумеров, я тебе скажу четыре. Поменяйся со мною одеждой.

— Только-то! — вскричал он, отстегивая крючки у мундира.

Я встал со стула. Я следил за его движениями с замирающим сердцем, я уже мечтал, как дверь отворится przede мною, одетым в жандармский мундир, как я выйду на улицу, на площадь и оставлю за собой палату правосудия.

Но жандарм сказал решительно:

— Да не затем ли вы хотите вырядиться, чтоб бежать?

Я понял, что все пропало. Однако же я отважился на последнюю, бесполезную попытку.

— Да, бежать! — сказал я, — но ты будешь...

Он меня прервал.

— Нет, нет? Видишь, какие вы ловкие! А как же мои нумера? Чтобы я узнал их, вам надобно умереть!

XXXIII.

Я закрыл глаза и еще зажал их руками, стараясь не забыть о настоящем, припоминая минувшее. Когда я мечтаю, в воображении моем являются воспоминания детства и юности, тихие, спокойные, улыбающиеся — как цветущие острова на мрачном море мыслей, бушующих в моей голове.

Вижу себя ребенком, свежим, румяным. С криком бегаю я с братьями по большой аллее запущенного сада, в котором протекли первые годы детства, сада, принадлежавшего прежде женскому монастырю. Через забор виден мрачный свинцовый купол Виль де-Грас.

Через четыре года, я опять в саду, все еще ребенок, но уже мечтатель и страстный. В уединенном саду кроме молоденькая девушка.

Черноглазая испаночка, с длинными черными волосами, с золотистой загорелой кожей, яркими красными устами, румяными щечками; четырнадцатилетняя андалузянка, Пепа.

Наши матери пустили нас побегать вместе — а мы гуляем.

Нам велели играть, а мы разговариваем: оба одного возраста, но не одного пола.

Однако же год назад мы бегали, боролись. Я отнимал у Пепиты яблоки; бил ее за птичье гнездо, и говорил: ништо тебе! И мы оба шли жаловаться друг на дружку, и матери наши вслух нас бранили, а втихомолку ласкали.

Теперь она идет со мною под руку, и я доволен судьбой и вместе смущен. Мы идем тихо, разговариваем шепотом. Она уронила платок, я поднял, и наши руки задрожали, когда встретились. Она говорит мне о птичках, о ясной звездочке, которая брильянтом играет на багряном западе, сквозь ветви деревьев или о своих пансионских подругах, платьях, лентах. Мы говорим о вещах невинных, а между тем краснеем. В девочке пробуждается девушка.

В тот вечер, это было летом, мы стояли в глубине сада, под каштанами. После долгого молчания, она вдруг выдернула свою ручку из-под моей руки и сказала: «Побегаем!»

Я как теперь ее вижу: вся в черном, в трауре по своей бабушке. Ей пришла в голову ребяческая мысль. Пепита опять стала Пепой: «Побегаем!»

И побежала, изгибая свой стан, тонкий, как перехват на туловище пчелки, быстро перебирая ножками, которые замелькали из-под платья. Я погнался за ней... Ветер по временам закидывал ее пелеринку, и я видел смуглую, свежую спину.

Я был вне себя; я догнал ее у старого колодца; по праву победителя схватил ее за талью и посадил на дерновую скамью; она не сопротивлялась. Она тяжело дышала и смеялась. Я, молча, посматривал на ее черные глаза, светившиеся из-под длинных ресниц.

— Садитесь, — сказала она, — еще светло, мы можем почитать. Книга с вами?

Со мной был второй «Путешествия Спаланцани». Я открыл наудачу, придвинулся к ней, она прислонилась плечом к моему плечу, и мы оба тихо стали читать одну и ту же страницу. Каждый раз она дожидалась меня, чтобы перекинуть листок. Мой ум не поспевал за ней. «Кончили?» — спрашивала она, когда я только что начинал.

Однако наши головы касались одна другой, волосы смешивались; мал-помалу дыханья наши сблизились, а там — и уста!

Когда мы вздумали опять приняться за чтение, небо уже было усыпано звездами.

— Ах, мамаша! — сказала она, когда мы пришли домой, — если б ты только знала, как мы бегали!

Я молчал.

— Что ты молчишь, такой скучный? — спросила маменька.

А у меня целый рай в сердце.

Этот вечер я не забуду во всю мою жизнь!

Во *всю* мою жизнь?!

Пробил какой-то час, а я и не знаю, какой именно: худо слышу бой часов. У меня гуденье и вой в ушах; мои последние мысли гудят.

В эти великие минуты, перебирая мои воспоминания, я с ужасом припоминаю и мое преступление; я желал бы, чтоб раскаянье мое было сильнее. До произнесения надо мною приговора, угрызения совести были яростнее; с тех пор я в состоянии большую часть своих мыслей посвящать самому себе. Однакоже желал бы слезами раскаянья оплакать мое преступление.

Минуту тому назад я припоминал мое минувшее, а теперь останавливаюсь на ударе топора, который скоро перерубит жизнь мою, и содрогаюсь! Милое мое детство! Прекрасная моя юность! Парчевая ткань, оканчивающаяся кровавыми лохмотьями. Между минувшим и настоящим — кровавая река: кровь ближнего и моя собственная!

Если кто-нибудь прочтет когда мою историю — тот не поверит, чтобы между столькими годами невинности и счастья мог замещаться этот последний проклятый год, начатый преступлением и оконченный казнью!

И, между тем, жестокие законы, жестокие люди, я не был злым!..

Ах, умереть через несколько часов и думать, что год тому назад, в этот самый день, я был чист и свободен, гулял, наслаждался ясной осенней погодой, бродил под деревьями по опадающим, желтым листьям.

XXXI.

Может быть, в самую эту минуту, в этом самом квартале, окружающем палату и Гревскую площадь — ходят люди, разговаривают, смеются, читают, думают о своих делах, купцы торгуют; молодые девушки готовят свои платья, чтобы вечером ехать на бал, матери играют с детьми!

XXXVI.

Помнится, раз, бывши ребенком, я пошел посмотреть колокольню собора парижской Богоматери.

У меня уже закружилась голова, покуда я поднимался по темной, улиткообразной лестнице; покуда я прошел по шаткой галерейке, соединяющей обе башни, и увидел весь город у себя под ногами. С этим головокружением я пошел в камеру, где висит главный колокол.

Дрожа всем телом, я шел по скрипучим доскам, смотря издали на этот колокол, столь славный в детских рассказах и преданиях народных, и не замечал, что покатые щитки из аспидного камня, прикрывающие колокольню, вровень с моими ногами. Сквозь них я видел, с высоты птичьего полета, соборную площадь и прохожих, ползавших будто муравьи, по этой обширной площади.

Вдруг громадный этот колокол зазвонил, широкими волнами всколыхался воздух, зашаталась вся башня. Этот звук едва не сбил меня с ног: я пошатнулся и едва не соскользнул с каменного откоса. От ужаса я прилег на помост, крепко обняв доски, бездыханный, онемелый, с страшным гудением в ушах, с пропастью перед глазами, на дне которой спокойно расхаживали люди, которым я в ту минуту не завидовал.

И вот — теперь мне кажется, что я опять стою на той самой колокольне. Я оглушен и ослеплен. В пустом моем чреве, в мозговых чашках, гудит стон колокола, а вокруг меня тихая, мирная жизненная площадь, которую я покидаю, по которой спокойно ходят люди и которую я вижу, как с окраины пропасть!

XXXVII.

Градская ратуша — мрачное здание.

Кровля прямая и острая, колокольня причудливой формы, большой белый циферблат, окна, разделенные

колонками, тысячи окон, лестницы с выемчатыми ступенями от частых прохожих, арки по бокам... И стоит это здание на мрачной Гревской площади, ветхое, угрюмое, черное, черное даже при солнце.

Во дни казни здание это изо всех своих дверей извергает жандармов, и глядит на казненного своими бесчисленными окнами.

По вечерам ее циферблат, освещенный изнутри, белеет на черном фасаде.

XXXVIII.

Второго четверть.

Вот что я теперь чувствую:

Невыносимая головная боль, холод в пояснице, лоб раскаленный. Вставая или наклоняясь, я чувствую, что у меня в мозгу как будто переливается какая-то жидкость, и мозг, плавая в ней, бьется о стенки черепа.

Изредка по телу пробегает судорожный озноб, перо выпадает из рук, как от электрического потрясения.

Глава чешутся и слезятся, будто в дыму.

В локтях — боль!

Еще два часа и сорок пять минут — и я выздоровлю!

XXXIX.

Они говорят, что это ничего, что мучений никаких нет, что это легко и скоро, что смерть тут чрезвычайно упрощена.

А они ни во что не ставят эту шестинедельную истому с каждодневным предсмертным хрипением? А мучения этого последнего дня, который так быстро и вместе с тем так медленно проходит? Какова эта лестница пыток, ведущих к эшафоту?

Разве это не страдания?

Разве это не те самые судороги, которые делаются с человеком, из которого по капле выпускают кровь? Так и разум иссякает — мысль за мыслью, будто капля за каплей!

И уверены ли они, что эта смерть не мучительна? Кто это им сказал? Я что-то не слышал, чтобы когда-нибудь отрубленная голова, выглянув из корзинки, закричала народу: мне не больно!

Или убитые этим способом являлись к ним и говорили: «Превосходная выдумка. Сделайте милость, продолжайте. Прекрасная механика!»

Ничего подобного не было. Минута, секунда — и всему конец!

А ставили ли они когда-нибудь себя, только мысленно — на место *решаемого*, в ту минуту, когда острое лезвие топора падает ему на шею, перекусывает мясо, пересекает нервы, раздробляет позвонки... Нет! Полсекунды, боли не слышно...

Ужас!

XL.

...

XLI.

Нечего делать! буду храбр со смертью, возьму эту мысль в обе руки и взгляну ей прямо в лицо. Спрошу у нее, что она такое, чего от меня хочет, рассмотрим ее со всех сторон, разгадаем загадку, заглянем в могилу.

Мне кажется, как только я закрою глаза, предо мною явится яркий свет и пропасть лучей, над которой дух мой понесется бесконечно. Мне кажется, что все небо будет проникнуто светом, а звезды будут, на нем как черные

точки. Для глаз живых людей это золотые блестки на черном бархате, а тут — черные точки на золотой парче.

Или, меня, отчаянного, поглотит страшная бездна тьмы, и я погружусь в нее, и буду бесконечно падать, мимо других теней.

Или, пробудясь, после рокового удара, я очнусь на влажной площадке, ползая в темноте и катаясь, как отрубленная голова. Меня будет подгонять сильный ветер, и я буду сталкиваться с другими головами, местами я встречу болота и ручьи неведомой, тепловатой жидкости; и всюду мрак и тьма. Когда при повороте моей катящейся головы, глаза оборотится кверху, они увидят мглистое небо, покрытое тяжелыми слоями туч, а в глубине клубы дыму, чернее самой тьмы. Кроме того, во мраке увидят мои глаза красные огненные искорки, которые, приближаясь, превратятся в огненных птиц — и так будет всю вечность!

Может быть также, в известные числа, в зимние ночи мертвецы Гревской площади собираются на место казни. Соберутся бледными окровавленными толпами — и я с ними! Ночь безлунная, и мы будем говорить шепотом. Перед нами будет выситься ратуша с ее почернелым фасадом, косой кровлей и часами, бывшими для всех нас безжалостными. На площади поставят адскую гильотину, и демон будет на ней рубить голову палачу: это будет в четыре часа утра. Мы, в свою очередь, будем толпой зрителей.

Легко может статься, что оно и так. Но если мертвецы возвращаются на землю, то в каком же образе? Что заимствуют они от своего изувеченного тела? Что выбирают? И то же будет призраком: голова или туловище?

Увы! что сделает смерть с душой? Какой оболочкой она ее оденет? Отнимает что от тела или что-нибудь ей придает? И во что заключает душу? Дает ли она когда-нибудь телесные глаза, чтобы видеть землю и плакать?

Ах, да дайте же мне пастора, который бы знал это!
Дайте мне пастора с распятием, чтоб я приложился!

Опять тот же!

XLII.

Я попросил его дать мне уснуть и бросился на постель.

Действительно, кровь прилила мне к голове и усыпила меня. И от был мой последний сон.

И видел...

Снилось мне, будто на дворе ночь. Я, дома, в кабинете с двумя или тремя приятелями, не знаю только, с кем именно.

Жена вместе с моей дочерью спит в спальне, что рядом с кабинетом!

Мы разговариваем шепотом, и разговариваем про что-то страшное.

Вдруг мне послышался стук в других комнатах: стук слабый, неясный.

Приятели тоже его слышали. Мы стали прислушиваться: точно отпирают замок или пилят пробой.

Мы оцепенели, испугались и подумали, что воры забрались ко мне в эту глухую ночь.

Решились пойти посмотреть. Я встал и взял свечку, приятели пошли за мной.

Мы прошли через спальню: жена спит с моей дочерью.

Вошли в гостиную. Ничего. Портреты спокойно висят в их золотых рамках на красных обоях. Мне показалось только, что дверь в столовую не на своем обыкновенном месте.

Мы вошли в столовую и обошли всю комнату. Я шел впереди. Дверь на лестницу была заперта, окна тоже. Дойдя до печки, я заметил, что шкаф с бельем отворен настежь, и дверь от шкафа прикрывает угол, будто умышленно.

Это меня удивило. Мы подумали, не спрятан ли кто за этой дверью.

Я попробовал ее захлопнуть — она не подается. Я рванул сильнее, она уступила, и мы увидели за нею старушку с опущенными руками, закрытыми глазами, стоящую недвижно, как будто приклеенную к стене.

В ней было что-то отвратительное, и при одной мысли о ней мороз подирает по коже.

Я спросил у старухи:

— Что до тут делаете?

Она молчит.

Я опять спросил:

— Кто вы?

Опять молчит, не шевелится и глаз не открывает.

Приятели сказали мне: «Это, вероятно, сообщница мошенников, которые сюда забрались; они, заслышав нас убежали, а она не успела убежать — и спряталась».

Я опять ее спросил; она по прежнему безмолвна, недвижна.

Один из нас толкнул ее — она упала.

Упала со всего размаха, как кусок дерева, как мертвое тело.

Мы потолкали ее ногами; потом двое из нас ее подняли и опять прислонили к стене. Она не подавала ни малейшего признака жизни. Мы кричали ей на ухо, она не шелохнется, как глухая.

Мы потеряли терпение, и к нашему ужасу примешалась ярость. Один из нас сказал: «Поднесите-ко

ей свечу к подбородку!» Тогда она вполовину открыла один глаз, тусклый, ужасный; глаз — без взгляда.

Я отодвинул пламя и сказал:

— А, наконец-то? Теперь будешь ли ты отвечать, старая колдунья. Кто ты?

Глаз опять закрылся.

— Это уже слишком! — сказали мои спутники. Пали ее еще! Мы заставим ее говорить.

Я опять поднес свечку к подбородку старухи.

Тогда она медленно открыла глаза, посмотрела на нас, потом быстро наклонилась и задула свечу ледяным дуновением. В ту же минуту я в темноте почувствовал, что три острые зуба впились в мою руку.

Я проснулся, дрожа всем телом, облитый холодным потом.

Добрый пастор сидел в ногах у постели и читал молитвы.

— Долго я спал? — спросил я его.

— Сын мой, — отвечал он, — вы спали час. К вам вашу дочь привели, она ждет вас в соседней комнате. Я не хотел будить вас.

— О! — воскликнул я, — дочь моя! Приведите же ко мне мою малютку!

XLIII.

Свежая, розовенькая, с большими глазами, красавица-девочка!

Надетое на ней платье к ней очень пристало.

Я взял ее на руки, посадил к себе на колени цаловал ее кудрявую голову.

Отчего же она не пришла с матерью?

— Мать больна и бабушка тоже.

— Хорошо.

Она с удивлением смотрит на меня. Она давала себя целовать, ласкать, осыпать поцелуями, изредка тревожно поглядывая на свою няню, плакавшую в углу.

Наконец я мог говорить.

— Мария, — сказал я, — милая моя крошка!

И крепко прижал ее к моей груди, разрывавшейся от рыданий. Она слабо вскрикнула.

— Ай, мосье, вы укололи меня!

Мосье! Год она не видала меня, бедняжка! Она забыла мое лицо, мой голос, взгляд... да и могла ли она узнать меня с этой бородой, в этой одежде, с этим бледным лицом? Как! я уже изгладился из той памяти, в которой единственно желал бы жить! Итак — я уже более не отец? За живо осужден я не слышать слова, милого слова детского языка, слова, до того сладкого, что оно не доступно, устам взрослого: *papa!*

Однакоже в замену сорока лет жизни, которую от меня отнимают, я бы желал один только раз, только один раз, услышать это слово из уст моей дочери.

— Мария, послушай, — сказал я, взяв, ее обе ручонки в мою руку, — разве ты меня не знаешь?

Она посмотрела на меня своими прелестными глазками и отвечала:

— Нет, не знаю!

— Всмотрись хорошенько. Как же ты не знаешь, кто я?

— Знаю, вы — *мосье*.

Вот она где, адская мука! Пламенно любить в целом мире одно только существо, видеть его перед собою — и оно одно видит тебя, говорит, отвечает и не знает, кто ты! Желать утехи от этого существа, когда оно только во всем

мире и не знает, что оно тебе нужно, потому что ты умрешь.

— Мария, — сказал я, — есть у тебя папа?

— Есть, — отвечала девочка.

— Где же он?

Она вытаращила глазенки:

— Разве вы не знаете? Ведь он умер!

И она вскрикнула: я едва не выронил ее из рук.

— Умер? — повторил я. — Да знаешь ли ты, что значит: умер?

— Знаю. Значит, он в земле и на небе.

И продолжала сама:

— Каждое утро и каждый вечер я за него Богу молюсь у мамы на руках.

Я поцаловал ее в лобик.

— Скажи мне твою молитву.

— Нельзя, мосье. Молитву днем говорить нельзя. Приходите сегодня вечером к нам, тогда услышите.

— Довольно! Довольно! — я прервал ее: — Мария, я твой папа.

— А-а! — отвечала она.

Я прибавил:

— Хочешь, чтобы я был твоим папой?

Дитя отвернулось:

— Нет, мой папаша лучше.

Я осыпал ее слезами и поцалуями; она выбивалась из моих объятий и кричала:

— Вы меня колете вашей бородой.

Тогда я опять усадил ее к себе на колени и, всматриваясь в нее, сказал:

— Мария, умеешь ты читать?

— Да, — отвечала она, — умею. Мамаша меня учит.

— Почитай-ка, почитай, — сказал я ей, показывая на клочок печатной бумаги, который она держала в ручонках.

Она подняла свою милую головку и сказала:

— Я читаю только басни.

— Попробуй это почитать; все равно...

Она развернула бумагу и, ведя розовым пальчиком по буквам, начала: «А, Р, ар, Р, Е, С, рес...»

Я вырвал бумагу из ее рук. Она читала объявление о моей казни!! Няня купила ей эту бумажку за грош...

Мне она дороже стоит!

Не могу выразить — что я чувствовал. Мое горе ее испугало, она заплакала и вдруг сказала: «Отдайте мне эту бумажку! Я буду играть...»

— Возьмите ее! уведите! — сказал я няне, передавая ей мою дочь.

И упал на стул мрачный, одинокий, осиротелый. Теперь они могут прийти; меня ничто не привязывает к жизни, последняя нить порвана. Теперь я годен на то, что со мной хотят сделать.

XLIV.

И пастор, и тюремщик — добрые люди. Они, кажется, прослезились, когда унесли дочь мою.

Кончено! Теперь соберусь с силами и стану пристально думать о палаче, о позорной тележке, о жандармах, о толпе на мосту, о толпе на набережной, в окошках, и о всем, которые для меня придут на Гревскую площадь, которую можно бы вымостить головами, которые на ней в разное время отрубили.

На приучение себя к этим мыслям мне еще остается час.

XLV.

Все эти толпы — захохочут, захлопают в ладоши, а между тем, в этой толпе людей, свободных, незнакомых тюремщику и так радостно бегущих поглазеть на экзекуцию, из нескольких тысяч этих голов, вероятно отыщется не одна, которая рано или поздно попадет вслед за моей головой в красную корзинку.

Теперь иной идет для меня, а тогда явится сам для себя.

Для этих, заранее обреченных плахе, на площади есть, должно быть, такая роковая точка, притягательный центр, ловушка. Люди кружатся около, и наконец попадают.

XLVI.

Моя малютка. Ее увели играть; она глядит теперь из каретного окошка и уже не думает об этом *мосье*.

Может быть, я еще успею написать несколько строк для нее, чтобы она прочла когда-нибудь, и хоть через пятнадцать лет оплакала нынешний день.

XLVII.

МОЯ ИСТОРИЯ.

Примечание издателя. До сих пор не могли отыскать следующих сюда листков. Судя по последующим, приговоренный не успел написать своей истории. Эта мысль слишком поздно пришла ему в голову.

Комната в градской ратуше.

В градской ратуше!!.. И так, я в нее попал. Проклятый поезд — свершен. Площадь тут, под окошками, народ ждет меня, воеет, хохочет.

Как я ни приободрялся, как ни крепился — я сбобел! Сбобел — когда увидел две огромные красные руки, держащие черный трехугольный топор. Я попросил, чтобы мне позволили сделать последнее показание. Меня привели сюда и послали за королевским прокурором. Я его жду... хоть это продолжит мою жизнь!

Вот:

Пробило три часа, и мне пришли сказать, что пора. Я дрожал, как будто в течении шести часов, шести недель, шести месяцев думал о чем-нибудь другом. Это поразило меня как что-то неожиданное.

Меня провели по коридорам, свели с лестниц. Втолкнули меня в подвальный коридор, в залу на сводах, слабо освещенную туманным днем. Посредине стоял стул. Мне велели сесть; я сел.

У дверей и у стен стояли какие-то люди, кроме пастора и жандармов, и было еще три человека.

Первый, повыше всех ростом и постарше, был толст и с красным лицом. На нем был долгополый сюртук и смятая трехугольная шляпа. Это был — *он!!*

Палач, слуга гильотины; остальные два были его слуги.

Только что я сел, они сзади подошли ко мне, подкрались, как кошки; потом вдруг я почувствовал в волосах холодную сталь, и ножницы заскрипели над самым ухом.

Подстригаемые волосы прядями сыпались мне на плечи, а человек в трехуголке слегка отряхал их своей

толстой рукой.

Стоявшие вокруг перешептывались.

А на улице было шумно, точно вой стоял в воздухе. Сначала я думал, что это плеск реки, но по хохоту узнал, что это народ.

Молодой человек, стоявший у подоконника и что-то писавший карандашом в записной книжке, спросил у сторожа, как называется то, что со мной делают.

— Это *туалет!* — отвечал тот.

Я понял, что этот господин готовит статью в завтрашние газеты.

Вдруг один из прислужников палача снял с меня куртку, а другой взял меня за опущенные руки, притянул их за спину, и я почувствовал, что около кистей обвились веревки. В то же время другой отвязал мой галстук. Моя батистовая рубашка, единственный лоскут минувшего достатка, кажется, на минуту возбудила его жалость — потом он отрезал у нее ворот.

При этой ужасной предосторожности, при прикосновении стали к моей шее, локти мои вздрогнули, и я глухо простонал; палач вздрогнул.

— Извините, сударь, — сказал он, — не оцарапал ли я вас?

Какие кроткие люди эти палачи!

Народ на улице гудел сильнее.

Толстый мужчина с красным угреватым лицом предложил мне понюхать платок, смоченный уксусом.

— Благодарю вас, — отвечал я столь возможно твердым голосом, — это бесполезно; я чувствую себя хорошо.

Тогда один из них нагнулся и связал мне ноги тонкой крепкой бечевкой на столько, что я мог делать маленькие шаги. Эту бечевку соединили с веревкой, связывавшей руки.

Потом толстяк накинул мне куртку на плечи и завязал рукава под подбородком. Что надобно было сделать в подвале, все было сделано.

Тогда подошел пастор с распятием.

— Идемте, сын мой! — сказал он.

Прислужники взяли меня под мышки; я встал и пошел; но шаги мои были шатки и ноги гнулись, как будто имели по два коленных сгиба.

В эту минуту дверь на улицу распахнулась настежь. Яростные вопли, холодный воздух и белый полусвет хлынули в подвал. Снизу я вдруг увидел сквозь дождь, тысячи народу на ступенях подъезда палаты; направо взвод жандармов; и увидел только ноги и груди их лошадей; напротив отряд солдат в походной форме; влево — задок телеги с прислоненной к нему лестницей. Картина гнусная, для которой тюремная дверь была достойной рамкой.

Для этой страшной минуты я сберег всю свою бодрость. Я сделал три шага и вышел на порог крыльца, идущего из подвала.

— Ведут! ведут! — раздалось в толпе. — Идет, наконец! — И ближайшие захлопали в ладоши. Какое радостное приветствие!

Тележка, обыкновенная, запряженная чахоточной лошаденкой. Кучер в синей блузе с красными разводами, какую носят огородники в окрестностях Бисетра.

Толстяк в трехуголке взошел на телегу первый.

— Здравствуйте, мосье Сансон! — кричали дети у решетки. За ним последовал прислужник. «Браво, Марди!» — опять крикнули дети. Палач и его помощник сели на переднюю скамью.

Очередь дошла до меня: я взошел довольно твердо.

— Он идет молодцом! — сказала какая-то женщина около жандармов. Пастор сел подле меня. Меня посадили

на заднюю скамейку, спиной к лошади. Эта последняя внимательность заставила меня вздрогнуть.

Это делается ради человеколюбия.

Я обвел глазами вокруг себя: жандармы спереди, жандармы сзади; а там толпа, толпа, толпа, море голов на площади.

У ворот, за решеткой меня ожидал еще взвод жандармов.

Офицер дал знак. Тележка и все шествие тронулись с места, будто подталкиваемые завываниями передней толпы.

Выехали из-за решетки. В ту минуту, когда тележка свернула на Меняльный мост (Pont-au-Change), вся площадь огласилась говором, от мостовой до кровель домов, и мосты и набережная откликнулись так, что земля задрожала.

Здесь взвод жандармов, поджидавший нас, присоединился к шествию.

— Шапки долой! шапки долой! — воскликнули вдруг тысячи голосов... Какой почет!

Мы ехали шагом.

Цветочная набережная благоухала цветами, сегодня торговый день. Ради меня торговки бросили продажу.

Напротив четырехугольной башни, принадлежащей к палате, балконы кабаков были битком набиты зрителями, которые были в восторге от своих мест, женщины в особенности. Хозяевам сегодня богатая пожива.

Многие наняли столы, стулья, подмости, тележки. И на всем этом громоздятся, карабкаются зрители. Торговцы человеческой кровью кричат во все горло: «Не угодно ли кому места?»

Ярость к этому народу закипело во мне. Я хотел закричать: не угодно ли кому мое?

А между тем тележка подвигалась. С каждым шагом толпа, шедшая сзади, прибывала.

Несмотря на туман и тонкую изморось, застилавшую воздух будто сетка из паутины, ничто из происходящего вокруг меня не ускользнуло от моего внимания. Мельчайшая из этих подробностей только усиливала мою пытку. Не доставало слов для выражения ощущений.

На середине Меняльного моста внезапный ужас овладел мной. Я испугался, что лишусь чувств: последняя дань самолюбию! Тогда я решился для всего быть глухим и слепым, кроме пастора, которого слова, заглушаемые воплями народа, едва мог слышать.

Я приложился к распятию.

— Сжался надо мною, Господи милостивый! — сказал я, и старался погрузиться в эту мысль.

Но каждый толчок тележки потрясал меня. Вдруг я почувствовал пронзительный холод. Дождь насквозь пробил мою одежду, пробил и голову сквозь остриженные волосы.

— Сын мой, вы дрожите от холоду! — сказал пастор.

— Да, — отвечал я. Увы! я дрожал не от одного холоду.

На повороте с моста женщины пожалели, что я так молод.

Мы поехали по роковой набережной. Я перестал видеть и слышать. В смутный хаос слились все эти голоса, головы в окнах, в дверях, на заборах, на фонарных столбах; все эти жестокие и алчные зрители; эта дорога, вымощенная человеческими лицами. Я опьянел, одурел. Как невыносимо тяжел груз всех этих взглядов, давящий меня!

Я качался на скамье и не видал уже и пастора.

Я уже не отличал криков радости от воплей сожаления, смеха от слез... Все эти звуки гудели у меня ушах, как в огромном медном котле.

Глазами я машинально читал лавочные вывески.

Раз мною овладело страшное любопытство — оглянуться вперед дорога, в ту сторону, в которую мы ехали. Это была последняя смелая выходка рассудка; но тело ему не повиновалось, затылок мой был недвижим и уже мертв.

Увидел я только влево, по ту сторону реки, башню собора Парижской Богоматери, загораживавшую дорогу. Там тоже было много народу, и оттуда отлично было видно.

А тележка подвигалась вперед, и по бокам тянулись лавки, и сменялись вывески, расписанные, разрисованные, раззолоченные; а народ хохотал, топая ногами по грязи, и я предался этому зрелищу — как сновидению.

Вдруг линия лавок пресеклась на углу площади; гул от голосов сделался громче, шире, резче — тележка быстро остановилась и я едва не упал лицом на пол. Меня поддержал пастор. «Смелее!» — шепнул он. Тогда к тележке подставили лестницу; подали мне руку; я сошел, сделал шаг — но другого ступить не мог. Между двух фонарей набережной я увидеть ужасную...

И это был не сон?

Шатаясь, я остановился.

— Я хочу сделать последнее показание! — сказал я слабым голосом.

Меня привели сюда.

Я попросил, чтобы мне позволили написать последние распоряжения. Мне развязали руки, но веревка здесь, наготове, а все прочее — внизу.

XLIX.

Судья, комиссар и какой-то чиновник пришли сюда. Я умолял их о помиловании, ломая руки, ползая на коленях.

Чиновник шутливо спросил, это ли одно только и желал я сказать.

— Пощадите! пощадите! — повторял я. — Или дайте мне только пять минут... Почему знать, может быть придет помилование... В мои года страшно умирать смертью позорной. Бывали же случаи, что помилование приходило в последнюю минуту. Кого же и помиловать, если не меня!

Проклятый палач! Подошел к судье и сказал, что казнь следует свершить в назначенный час, что час этот приближается; что он, палач, может за это ответить; к тому же дождь идет и *она* может заржаветь.

— О, умилосердитесь! Позвольте только минуту подождать помилования... Или я буду защищаться, кусаться.

Судья и палач ушли. Я один. Один, с двумя жандармами.

А народ под окнами рычит, как гиена!

Почему знать, может быть я еще не достанусь ему на потеху... если меня помилуют... Быть не может, чтобы меня не помиловали!..

А! проклятые!! Кажется, всходят на лестницу...

ЧЕТЫРЕ ЧАСА.

1829

notes

Примечания

Слова эти объяснены в главе V.

2

Палач.

3

Руки.

4

Карман.

Крал шинели.

6

Мазуриком.

Мошенник.

Лавки и магазины.

Ключи.

10

На галеры.

Жить.

Вторично на галеры.

Приговоренный на всегда.

Убивали на больших дорогах.

Жандармы.

Палач.

Был повешен.

Умру на гильотине.

Не струсь перед смертью.

Гревская площадь.